

АЛЕКСАНДР СЕВАСТЬЯНОВ

## ФРОНТОВИК И ПОЭТ

Я хочу рассказать о своём отце — человеке неординарном.

Он родился в 1924 году и принадлежит именно к тому поколению, которое понесло основные потери на Великой Отечественной войне, защищая нашу страну и наш народ от тысячелетнего врага. Людей той генерации сегодня уже не осталось, и портрет этого поколения постепенно уходит в дымку времени, становясь всё менее понятным для потомков, живущих по другим нормам морали, по другим приоритетам и мотивам, по другим общественным установкам. Это не значит, конечно, что связь поколений разрывается, нет, — мы видим своими глазами, как молодые люди и даже дети нескончаемым потоком идут на шествия “Бессмертный полк”, неся в руках большие фотопортреты своих славных предков, зачастую в военной форме тех лет. В этом важном факте я вижу залог нашей жизнеспособности как народа. Но одно дело — фотопортрет, а другое — портрет неосязаемый, который можно увидеть лишь духовным зрением.

Вот именно такой портрет отца мне захотелось восстановить и показать моим младшим соплеменникам, чтобы у них была возможность чуть-чуть поближе присмотреться к той человеческой формации, я бы даже сказал “породе”, которая мне, по прошествии целой жизни, кажется наилучшей из всех виденных.

Отец в мирной послевоенной действительности стал инженером-кораблестроителем и учёным с мировым именем, доктором наук, специалистом по остойчивости судов; он был завкафедрой теории корабля, деканом судостроительного факультета Калининградского технического института рыбной промышленности и хозяйства. Но для задач настоящего очерка данный факт не так уж важен. Гораздо важнее, что он, как и его отец, всю жизнь писал стихи, хотя никогда не претендовал на звание поэта — писал по внутренней потребности, а также потому, что считал стихосложение отличной школой мысли и риторического мастерства. Он любил цитировать Александра Гитовича: “Ты должен слово нужное найти, а не его двоюродного брата”, — нередко повторял за Некрасовым, что писать нужно так, “чтобы словам было тесно, мыслям — просторно”. Уложить мысль в заданный размер, кратко, ёмко, точно, в красивой и незаурядной словесной упаковке — это умение необходимо было ему не только как поэту, но и как учёному, и он наслаждался, тренируя свой ум в этом деле. А поскольку стихи отец писал ещё на школьной скамье и увлечение литературой пронёс через всю жизнь, то в результате я нахожу в его творчестве своеобразный слепок, в котором отпечатался как он сам, с его характером и убеждениями, так и эпоха, в которой он жил, мыслил и творил.

В те времена, сегодня представляющие весьма идиллическими, литературные произведения ещё не замышлялись как сложная система зеркал,

и технологии постмодерна с их умственным и душевным релятивизмом, амбивалентностью и отрицанием любого универсализма ещё не коснулись святой простоты лирического посыла. Так что и литературоведение, и просто читатели имеют полное право принимать поэзию тех лет за чистую монету.

Из всего массива сохранившихся стихотворений отца я выбрал те, что были написаны в связи с войной, которую он добровольно и честно прошёл, уйдя на фронт с восемнадцати лет (у него было неважно со зрением, но он сумел обмануть медкомиссию, чтобы попасть в действующую армию). Почему я сделал такой выбор? Наверное, потому, что именно военная страда более, нежели что-то иное, сделала отца тем человеком, которого уважали и любили те, кто его знал. Сделала, конечно, не только его, но и всех, кто прошёл через горнило войны. Сам он так сказал об этом в связи с празднованием 30-летия Победы:

*Что называют фронтовым закалом?  
Уменье с марша развернуться в бой,  
Уменье быть собой в большом и малом  
И не трястись над собственной судьбой.*

*Хочу я высоко поднять бокал  
За этот самый фронтовой закал.*

*Что называют фронтовым закалом?  
Уменье пешкой взять порой ферзя,  
Уменье дать отпор пролазам и нахалам.  
Нас ни купить, ни запугать нельзя.*

*Я поднимаю высоко бокал  
За этот самый фронтовой закал.*

*Что называют фронтовым закалом?  
Уменье сохранить и через тридцать лет  
Стремление к цели, честь и верность идеалам  
И бескорыстие своих побед.*

*Я приглашаю вас поднять бокал  
За этот самый фронтовой закал!*

Сказанного достаточно для краткого пояснения выбора предмета данного очерка, который я не случайно так и назвал: “Фронтовик и поэт”. Ибо эта двуединая характеристика в данном случае неразрывна.

А теперь – к делу. Вначале я хотел бы показать грубую канву событий, пунктиром очертить военный путь отца.

\* \* \*

В феврале 1943 года Севастьянов Никита Борисович, наскоро окончив Асиновское военное училище, был направлен на Западный фронт и попал сначала наводчиком, а вскоре командиром миномётного расчёта в 681-й стрелковый полк 31-й армии<sup>1</sup>. Из рядового быстро превратился в старшего сержанта.

Война отныне началась и для Никиты лично, притом началась сразу со страшной потери и со смертельной опасности.

Отец ещё не попал на фронт, а 21 января 1943 года от попадания немецкой бомбы во фронтовой госпиталь под Осташковом погибла его мать, гвардии капитан медицинской службы Таисия Дмитриевна Севастьянова, которую он так и не увидел больше после её мобилизации. Теперь он был полным сиротой. Надо заметить, что его отец Борис Александрович Севастьянов был офицером Белой армии, служил под началом Деникина и Врангеля, вернулся в 1922 году с молодой женой из Стамбула, работал в Советской России, но был в 1931 году арестован и расстрелян в рамках операции “Весна” (это была тотальная “зачистка” офицеров царской формации), и реабилитирован

только в 1989 году. Да и мать также была “по ту сторону фронта” гражданской войны – работала сестрой милосердия у белых и тоже была в эмиграции. Однако, когда на нашу землю пришли немецкие захватчики, все оставшиеся в живых из дворянского рода Севастьяновых – младшие братья расстрелянного деда Владимир и Игорь, его вдова Таисия и сын Никита – пошли на фронт и отличились в боях. Но это так, к слову.

Смерть матери была для 19-летнего бойца очень тяжёлым ударом, ещё усилившим ненависть к врагу. 23 сентября 1943 года он напишет Ане Куликовой, моей будущей маме: “Я не знаю, Анюша, чего больше принёс мне приезд мой в Москву, радости или горя: то, что я узнал о судьбе мамы, потрясло меня слишком сильно. Я подозревал это, но боялся поверить, хотя обычно предпочитаю смотреть правде в глаза. Ты поймёшь меня, Аня, как нелегко это – остаться без человека, которому я обязан всем, больше, чем жизнью. Человек, о мнении которого думаешь при каждом своём поступке, – вот чем была для меня мать. И как-то странно сейчас, когда приходится заниматься обычными делами, голова машинально работает, как заводная, а внутри всё пусто, всё кажется лишённым смысла. Я найду в себе силу, чтобы заставить себя внешне быть спокойным – для этого есть средство – работа, хотя бы и насильная; но не знаю, смогу ли я найти то, что зовётся внутренним равновесием человека, найти новую точку опоры в своей жизни”.

Впрочем, и не зная ещё о своей потере, он с воодушевлением включился в солдатскую страду, о чём писал сестре 12 мая 1943 года: “Командир расчёта (он же бывший Никитка) со своими хлопцами лупит немца недурным манером. Наш миномёт сравнивают с кривым ружьем, которым Хаим хотел стрелять из-за угла. Мы немца видим, он нас – нет”.

1943 год был переломным в ходе Великой Отечественной войны. Но этот перелом давался нам трудно, ибо воинская наука постигается через ошибки и потери. Не раз над Никитой Севастьяновым нависала смертельная опасность. О некоторых случаях мне известно.

Осенью 1943 года противник шквальным огнём загнал наших солдат в озерцо или болото, где им пришлось просидеть трое суток, почти не поднимая головы. К утру на воде образовывалась тонкая корочка льда. Кто-то не выдерживал переохладения и, теряя сознание и силы, молча так и шёл на дно там, где стоял. Отец выжил и, по его словам, даже не заболел тогда. Молодость и запас “сибирского здоровья” сотворили чудо. В одном из его писем об этом рассказано в таких словах: “Да, Анюша, я люблю осень – такую, о которой ты пишешь. Есть другая осень, когда ноют ноги, обёрнутые в непросушенные неделями портянки, когда валишься от усталости на мокрую землю, и окоченевшие пальцы не могут даже свернуть сигарку, а костёр кажется недосягаемым и единственным блаженством. Пережить такую осень страшно, но, пережив, приятно вспомнить, как о всяком пройденном тяжёлом испытании. И счастлив будет тот, кто в другую осень припомнит сон вповалку на подмерзающем болоте и себя, протянувшего руки над углями сожжённой деревни” (23.09.43).

Отец был подранен, а также ещё и контужен в августе 1943 года: сильно завалило пластом земли с камнями при взрыве немецкой мины. Основной удар пришёлся по голове. На счастье, буквально накануне им впервые выдали каски, это его спасло. А был бы в пилотке, как прежде, – и поминай как звали. У этих мин, по его словам, было солдатское прозвище “Лука Мудищев” (почему – бог весть). Контузия была тяжёлой и впоследствии давала о себе знать, ибо мозговое кровообращение было нарушено. После войны отцу приходилось терять сознание; однажды он вот так отключился в автобусе и его ограбили, стащили портмоне с деньгами, паспортом и орденой книжкой. А в начале 1960-х отец начинал терять зрение и мог совсем ослепнуть, но вылечился. Возможно, если бы не та контузия, то миновал бы и инсульт...

Через шесть месяцев боев в 1943 году, после описанной выше контузии и лёгкого ранения старшего сержанта Севастьянова Н. Б. направили 28 июля на Курсы подготовки и переподготовки политсостава Западного фронта в Суходрев Тульской области. Оттуда, начиная с октября, ему удавалось иногда выбираться в Москву, встречаться с родными, и – самое главное – дважды провести день с Аней Куликовой, 2 октября и 17 ноября. Встреча произошла у памятника Пушкину, что на улице Горького (нынешней Тверской). Тогда отец сделал маме первое признание, и между ними укрепилась та внутренняя

связь, которая четыре года до того поддерживалась только письмами. Она не прерывалась до конца войны, хотя больше до осени 1945 года Никите так ни разу и не удалось побывать в Москве. Это была большая настоящая любовь. С этого момента в письмах к ней и к сестре Никита ласково называл свою избранницу Анюшей, Анюшкой, писал о своей любви также и в стихах военного времени.

С курсов в декабре 1943 года он был направлен уже в звании младшего лейтенанта (присвоено 21 ноября<sup>2</sup>) комсоргом полка в 529-й истребительный противотанковый артиллерийский полк 31-й армии, где и воевал в составе вначале III Белорусского, а затем I Украинского фронта. Надо правильно понимать указанное назначение: у комсорга была лишь одна привилегия: служить примером для солдат и первым идти в бой и погибнуть<sup>3</sup>. Он теперь нёс большую ответственность не только за себя, но и вообще за поведение воинского состава полка, за положение дел на вверенном ему участке фронта. Что и проявилось не далее как через полгода весьма опасным образом, о чём я успел записать с его слов рассказ, подкреплённый документами.

До конца жизни под левой лопаткой у отца сидел осколок, а на спине был виден грубый шрам со следами стежков. Осколок попал в него вечером 24 июня 1944 года при взрыве снаряда, накрывшего прямым попаданием нашу противотанковую пушку. С поля боя его, потерявшего сознание, героически вытащил тоже раненый, но выживший и сохранивший подвижность рядовой санитар.

А дело было так. В июне 1944 года отца, наконец, приняли в коммунистическую партию, куда он подал заявление ещё год назад. Предстояло, как говорилось тогда, “оправдать доверие”. А 23 июня началось наше наступление под Оршей, первое, в котором III Белорусскому фронту сопутствовал успех (до этого было две неудачные попытки). Командовал операцией генерал И. Д. Черняховский, которого отец высоко чтит. Эта битва оказалась в некотором смысле решающей, именно после неё фронт уже неудержимо покатился на Запад. И в этом есть частица заслуги моего отца, его подвига.

Батарея, где служил отец, получила приказ бить не по площадям, в порядке артподготовки, а только по конкретным целям прямой наводкой, ради чего была выдвинута на передний край. Так они пробивались до немецких позиций. В первый же день наступления командир противотанковой артиллерии был убит, и комсорг, младший лейтенант, свежееиспеченный коммунист Никита Севастьянов принял командование на себя. Знаменитая фраза “Коммунисты, вперед!” не случайно ведь стала народным присловьем. Ему пришлось перебежать от взвода к взводу по открытому полю, руководя стрельбой, а всего было три взвода по четыре орудия в каждом. На второй день 24 июня удалось прорвать линию вражеской обороны. Но на некоторых участках началась немецкая танковая контратака с флангов. Тем временем наших артиллеристов выставили в чистое поле, без окопов, без всякого прикрытия, и бить велели только с 300 метров – а это считается короткой дистанцией, – притом по гусеницам, поскольку немецкая лобовая броня была непробиваема. И вот, находясь при первой батарее, отцу удалось произвести удачный выстрел и подбить вражеский танк. И – всем расчётом запрыгали от радости, заплясали (мальчишки ведь ещё, в сущности)! И не заметили, как из-за бугра выползла немецкая самоходка и ударила по их орудию прямой наводкой. Из 11 человек расчёта трое были ранены, остальные убиты.

Отец был ранен, потерял сознание, пришёл в себя уже в полевом лазарете. Осколок не дошёл до сердца, но сразу вынуть его фронтовые хирурги не смогли, а просто влили в рану ложку йода и зашили наскоро. А уж потом и доставать не пытались. Сгоряча отец на следующий день 25 июня рванул обратно в строй и вновь, третий день подряд, оказался на поле боя, но, видимо, переоценил свои силы. Уже на завтра, 26 июня, отец попал в эвакогоспиталь № 3026<sup>4</sup>, где его продержали месяц до 24 июля, а в госпитале для легкораненых (ГЛР № 35) дополнительно находился ещё 25-26 июля 1944 года. Такие датировки проставлены в справке, выданной ему 24.07.44 и подписанной начальником лечебного учреждения майором Золотарёвым и начальником медчасти майором Казанцевым. Там указано также: “Ранение связано с пребыванием на фронте. Ранен 24.6.44 г. в бою осколком в левую лопаточную область”. В другой справке за подписью майора Золотарёва обозначено “слепое осколочное ранение мягких тканей левой лопаточной области”,

полученное 24 июня 1944 года “в боях за Советскую Родину”. В первой справке указано также, что младший лейтенант “годен к военной службе”<sup>5</sup>.

Отец, которому заехать в Москву так и не удалось, лихо смылся из госпиталя и на крыше товарного вагона успешно вернулся на фронт, к своим. Где по прибытии получил свой первый орден и повышение в чине до лейтенанта.

Ещё у него были лёгкое осколочное ранение головы (по касательной) и шрам от осколка на ноге, но отец даже не прихрамывал, шагал легко, упруго, размашисто, немного подпрыгивая при быстрой ходьбе (я тоже так ходил, пока не постарел). Вот так и прошагал всю войну пешком, все свои фронтовые дороги – да ещё с полной выкладкой, да ещё, если верить его словам, под излюбленную маршевую песню наших солдат:

*Нашёл тебя я босую,  
Лахудру безволосую,  
И целый день в порядок приводил,  
А ты мне изменила,  
Другого полюбила,  
Зачем же ты мне шарики крутила?.*

Ну, о том, что он всю войну зимой и летом ночевал порой, где попало, и говорить не приходится. Как полушутя-полусерьёзно уверял такой же фронтовик – историк Лев Гумилёв, – немцы не могли спать прямо на земле, а русские могли, потому и войну выиграли. Однако, по словам отца, за всю войну он не болел всерьёз ни разу. 3 марта 1944 года он писал Ане Куликовой: “Ты хочешь знать, что у меня за дом? Что там Растрелли, Казаков, Кремли и Петергофы! Это дырка на болоте 3 x 2 x 1,5 м<sup>3</sup>, сверху навалены дрова (сиречь “накат”) в 4 ряда – это чтоб, если завалит, не вылазить – а внутри (по порядку): 1) земля; 2) озеро; 3) нары; 4) я и ещё двое. Правда, дней 10 назад я провёл модернизацию и поэтому появилось 5) окно. Но, в общем, в этой хате тепло и уютно, недаром я говорю, что сегодня я вернулся домой. А последние 10 дней я проживал, как в санатории: дышал озоном и плевал не в потолок, а в небо. Но всё обошлось благополучно, отделался лёгким насморком (к сожалению, Анюшка, не для всех, кто был со мной, это кончилось так же)...”. На самом деле, один раз в письмах промелькнуло упоминание о жестокой простуде. Но всё-таки сам факт, что он прошагал до конца войны – лишнее доказательство огромных мобилизационных возможностей человека, которые пробуждаются в экстремальных обстоятельствах.

Не счесть случаев, разумеется, когда мины, снаряды, пули пролетали мимо, не зацепив. Я просто не знаю всего, хотя помню, например, что отец не однажды бился в рукопашной. И вообще не прятался от опасности. В том же марте 1944 года он отписывал будущей жене: “Ну, а я, Анюшка, живу пока по-прежнему – ото дня ко дню бегаю, ругаюсь и воюю. Вот и сейчас в ушах звон, и нос разбит, и волосы дыбом. Немножко путаются мысли и слипаются глаза. Но я рад, Анюшка, что я здесь нужен. Поэтому и нетяжёлой кажется необходимость торчать в мокрой развороченной траншее, слушать симфонию обстрелов, бомбёжек и прочую пакость. Только тяжело, когда рядом умирает товарищ. Ох, как тяжело”...

Наконец, в последний раз отец был на волосок от смерти уже после окончания войны, когда осенью возвращался в Москву поездом из Венгрии, где закончил свой боевой путь. Весь последний день он прогулял по Будапешту, любуясь напоследок городом, и чуть не опоздал на поезд, догонял его бегом по шпалам и был втянут за руки в последний “телячий” вагон-теплушку сидевшими там солдатами. Состав был длинный, офицерство ехало в двух передних вагонах, а рядовые – в остальных. Отец не захотел тащиться через весь состав и остался покурить, выпить-закусить, поприветствовать возвращение на родину с втянувшими его ребятами. Это его и выручило, ибо ночью в Карпатах бандеровцы пустили поезд под откос, при этом передние вагоны с паровозом отцепились и всей тяжестью рухнули в пропасть, разбившись вдребезги, а остальной поезд завалился на рельсы, но ехавшие в нём остались живы. Как обидно было бы погибнуть во время долгожданного мира, по пути к дому! Отца в очередной раз спасло чудо, счастливый случай.

Словом, война пощадила отца и оставила в живых, но сполна оделила тяготами и опасностями, от которых он не таился, но не уклонялся.

Всё, что я знаю об отце, говорит о том, что он, как и его отец, мой дед Борис, был прирождённым воином, сражавшимся смело и мужественно, лихо и инициативно, умно и умело, всегда быстро и точно находя решение боевых задач. Потомок поморов и русский дворянин, он был истинным сыном воинского сословия, настоящий кшатрий, если использовать древнейшую арийскую классификацию.

Об этом также свидетельствуют его награды. Всего отец принёс с войны три боевых ордена: Отечественной войны I и II степени, а также Красной Звезды. Он гордился наградами, каждый раз писал о них с фронта<sup>6</sup>. О том, за что именно были даны эти ордена, я расскажу словами официальных документов. Эти документы – так называемые “наградные листы” – сегодня доступны в интернете на сайте архива Министерства обороны. Тексты наградных листов привожу дословно.

\* \* \*

### **1. Орден Отечественной войны II степени**

Свой первый орден отец получил именно за тот бой в ходе наступления на Оршу, в котором побдил немецкий танк, а сам был ранен. Тогда он ещё состоял в младших лейтенантах.

Описание подвига:

“В бою 23.6–25.6 44 года младший лейтенант Севастьянов, находясь в боевых порядках батарей, личным примером бесстрашия и отваги увлекал личный состав на отличное выполнение боевых задач, участвовал в отражении 4 яростных контратак противника. Будучи при этом ранен 24.6, не ушёл с поля боя, весь день 25.6 44 находился с расчётами, прокладываясь своими огнём путь вперёд нашей пехоте.

Своими решительными действиями во многом способствовал успешному выполнению боевых задач”<sup>7</sup>.

Все комментарии к этому подвигу уже приведены выше. Но что отец, раненый, остался в строю, я узнал только из этого документа, он сам о том не говорил. Помимо ордена, он получил и повышение и стал именоваться “лейтенант”, без “младший”.

### **2. Орден Отечественной войны I степени**

Второй орден отец получил уже в Восточной Пруссии.

Описание подвига:

“В районе г. Гольдап 3–5 ноября 1944 года противнику удалось отрезать наши подразделения от своих частей и штабов. Лейтенант Севастьянов, несмотря на сильный пулемётно-артиллерийский огонь противника, прошёл по всем расчётам и подразделениям, разъясняя обстановку и боевую задачу. Принимал личное участие в организации круговой обороны и отражении контратак противника, личным оружием вёл огонь по гитлеровцам. В результате огня группы бойцов, руководимой лейтенантом Севастьяновым, было уничтожено до 20 эсэсовцев.

С получением приказа о выходе личного состава из города, лейтенант Севастьянов добровольно организовал разведку и с 3-мя комсомольцами-смельчаками, разведав путь, провёл группу в 250–300 бойцов по городу, занятому противником. Благодаря его умелой разведке, наши подразделения прошли в 40 метрах от пехоты и патрулирующих танков противника незамеченными до самых рубежей атаки.

На рубеже атаки лейтенант Севастьянов помог командованию расставить бойцов, а по сигналу первым поднялся и бросился на гитлеровцев с возгласами “За товарища Сталина! Вперёд!” – ведя огонь из автомата. После прорыва первой полосы обороны противника лейтенант Севастьянов снова вёл непрерывную разведку вплоть до соединения со своими частями”<sup>8</sup>.

Рассказ папы об этом ярком военном эпизоде я хорошо помню, да ещё и записал кое-что с его слов. Дело было в том, что наши части, в составе которых воевал отец, осуществили прорыв немецкой обороны и заняли Гольдап, но фронт в целом не сумел их вовремя поддержать, и немцы за их спиной сомкнули свои войска и взяли прорвавшихся в кольцо. И теперь уже нашим пришлось держать оборону в захваченном городе. Причём без всякой надежды на спасение. Утром немцы без труда раздавили бы нашу группу.

Папа в школе Туруханска (туда в добровольную ссылку отправилась главврачом местной больницы Таисия с сыном, окончив 1-й медицинский институт в Москве) учил немецкий, и учил добросовестно. Помимо того, он сдружился там с ссыльным немцем, получал от него дополнительные уроки и язык знал прилично<sup>9</sup>. Он решил провести разведку и подслушать, о чём будут говорить немецкие патрули. Так они и сделали, прокравшись по крышам домов и тёмным переулкам. В городе стояла тишина, и в осенней ночи было хорошо слышно каждое слово немецких солдат. Разведчики выяснили, когда у немцев пересменка, как расположены вражеские силы, смекнули, как можно вырваться из смертельного капкана.

За окраиной города находились поля, а за ними – овраг и ручей в густом кустарнике. Если добежать до оврага – всё, считай, спасены. Так и решили сделать, но не учли одного. Перед прорывом днём падал мягкий осенний снежок, он растаял, распаханные под озами поля превратились в жидко-мёрзлую и жирную, вязкую грязь. Когда вся группа дружно побежала, ноги стали залипать в пахоте, и бойцы добежали до оврага уже без сапог. Так босиком и пробирались к своим по ноябрьской погодке. И то, увы, не все, поскольку, когда немцы стали стрелять из пулемётов и пускать осветительные ракеты, то у пехотинцев, – а их среди участников прорыва было немало, – сработал выработанный войною рефлекс: они залегли в поле. И потом уже подняться и выбраться не смогли, так там и полегли под немецкими пулями. Та группа спасшихся счастливых, о которой написано в цитированном документе, – это всё, что в четырёхдневных боях осталось от примерно 1100 человек, попавших в окружение. Но если бы не отец, погибли бы вообще все. Так что награду он заслужил.

Есть фронтовая фотография, на которой отец запечатлён в выдавшей виды гимнастёрке с простыми лейтенантскими погонами, с только одним пока орденом Отечественной войны и с нашивкой за ранение. Лицо суровое, уставшее, под глазами мешки. Снялся явно после пережитого, чтобы запечатлеть счастливый и почти невероятный факт: он живой! Самое страшное позади! Такое фото он, между прочим, послал в Москву Ане Куликовой, приписав при этом на обороте: “Ты, наверное, думаешь, что твой знакомый пьянствует или дуется в двадцать одно по ночам. Ей-богу, нет. Таким я выглядел днём 5. XI, после той трудной драки, о которой я тебе писал”. Они переписывались постоянно, и он успел уже по самому горячему следу рассказать о том, как побывал на краю:

“Анюшка, славный мой друг! Я знаю, что ты уже крепко ругаешь меня и выдумываешь бог знает что о судьбе моей тёмной личности. А эта самая личность жива и здорова, хотя ещё три часа назад никто не поручился бы за это. 4 дня я был во фрицевском тылу, а сейчас мы вернулись к своим. Вот сижу на пеньке, мокрый и грязный, как пёсик, вылезший из болота, и знаю, что где-то, у кого-то есть твоё письмо ко мне. А его ведь хотели было отправить обратно с пометкой “вручить невозможно” (тут уже заупокойную читали).

Было трудно, мне не приходилось ещё бывать в таких переделках, но я и там, Анюшка, всё время помнил о тебе, о Пушкине и верил, что всё будет хорошо. И карточка твоя была со мной.

... Ну, а сейчас, Анюшка, крепко-крепко жму твои лапки. (Ведь ты не рассердишься, что мои лапищи перепачканы в крови и грязи?)” (07.11.44).

А чуть позже, 16 декабря отрезюмировал: “Когда обозлишься, Анюшка, становишься сильнее. И мы прорвались, да ещё и фрицам паники наделали. Когда мы пришли к своим, они считали это чудом. Это не чудо; просто вера и воля прибавляет силы. И мне хочется, чтобы они у меня всегда были. Ты понимаешь меня, Анюшка?”...

Если сравнить это снимок с фотографией, на которой он, пока ещё младший лейтенант и с одним орденом, снят с боевыми товарищами в Пуньске (Польша) в 1944 году, то можно судить, как преобразило испытание Гольдапом его резко повзрослевшее лицо, ведь на той, догольдаповской карточке видно, что он, хоть и с осколком под лопаткой, хоть и с орденом, а всё-таки ещё мальчишка, в лице видна мягкость – во всех смыслах слова. После Гольдапа перед нами совсем иной человек, человек-воин.

Есть и другое фото, сделанное в апреле 1945 года, то есть всё в той же Восточной Пруссии. На ней папа в новой гимнастёрке уже с погонами старшего лейтенанта и с двумя сияющими орденами Отечественной войны первой

и второй степени. Он причёсан, лицо хоть и повзрослевшее, посолдневшее, но отдохнувшее, смотрит весело, уверенно, с лёгкой улыбкой: всё впереди.

Самое потрясающее в истории про этот прорыв — в том, что в ночь перед прорывом, буквально за считанные часы до сигнала, отцом было написано большое и, на мой взгляд, великолепное стихотворение, которое вполне, сложись всё чуть по-другому, могло бы оказаться его завещанием. Факт поразительный! Свидетельство не только потрясающего самообладания, но и огромной жизненной и творческой силы, и силы любви, которые все достигли крайнего напряжения и концентрации перед лицом почти неминуемой смерти. Я не могу не привести его здесь целиком.

*Подвал сырой казармы старой.  
Окно. И видно за окном,  
Как ленты красные пожара  
Блестят на небе вороном.*

*Сегодня что-то тихо очень —  
Предгрозовая тишина.  
За эти три последних ночи  
Мы отучились ото сна.*

*Подсчёта нет солдатам павшим —  
Их не учёшь в таком бою.  
Из всех домов остался нашим  
Один — на западном краю.*

*...Ещё недолго тишь продлится  
(Часа четыре, может — шесть).  
И никому сейчас не спится,  
И мысли каждого — не здесь.*

*Через порог родного дома  
Летит солдатская мечта:  
Здесь всё так близко и знакомо;  
Родные, милые места!*

*Улыбка матери-старушки,  
Отца колючие усы,  
Смешные детские игрушки,  
С кукушкой старые часы.*

*Летит, летит неудержимо  
Мечты бурливая струя...  
Вот вечер с девушкой любимой,  
Работа, дружная семья.*

*За всё, что каждому когда-то  
Большое счастье принесло,  
Четвёртый год несут солдаты  
Войны тяжёлой ремесло.*

*И я солдат. Хотя немного  
Не так прошли мои пути  
(Не той пришлось идти дорогой,  
Какой хотелось бы идти):*

*Погиб отец, и мать убита,  
И нет ни дома, ни семьи.  
Войной истоптаны, зарыты  
Мечты любимые мои.*



*Но мне война дала другое,  
Чего не знал я до сих пор:  
России имя дорогое,  
Её народ, её простор.*

*В ней всё теперь: и боль большая,  
И гордость, и любовь моя.  
Она — от края и до края —  
Моя огромная семья.*

*А чтоб любить не только слово,  
Пронёс над горем и войной  
Как символ русского, родного  
Я образ девушки одной.*

*Сейчас не будет пустословьем:  
Я эту девушку любил  
Большой серьёзною любовью  
И никому не говорил.*

*Любил... Нет, нет, люблю, как прежде,  
Да только близится рассвет  
И бой последний. А надежде  
В бою смертельном места нет.*

*А там, далёко — вижу, знаю —  
За морем ночи и огня  
Она, моё письмо читая,  
Наверно, очень ждёт меня.*

*Теплом последнего дыханья  
Я искуплю свою вину,  
Что так невольно ожиданье  
Её большое обману.*

*Да, жалко: жизнь коротковата!  
(Ещё в запасе два часа).  
Она простит мне смерть солдата,  
Но отвернётся от труса!*

\* \* \*

*Ну вот, немного отдохнули.  
Теперь и мы ещё рванём!  
Через усталость, через пули  
И через всю войну пройдем.*

*Пожар ночной не затухает...  
Какой злоециий колорит!  
Земля немецкая пылает.  
Мы не сгорим. Она сгорит.*

Под стихами рукою отца написано: “4 ноября 1944 г. Гольдап, Восточная Пруссия”. Если бы я не знал, что это правда, я никогда бы не поверил, что они написаны не после, а во время самого события, да ещё после трёх дней непрерывных боёв. Это невероятно, но так было...

### **3. Орден Красной Звезды**

Третий орден отец получил в целом за Восточно-Прусскую операцию. Дата подвига: 01 января — 28 февраля 1945 года, то есть ещё даже до штурма Кёнигсберга.

Описание подвига:

“В январско-февральских боях с. г. т. Севастьянов показал себя энергичным, способным организатором, вожаком комсомольцев и несоюзной молодёжи. За время его работы в полку полк получил 3 боевых ордена. Все комсомольцы полка, участвовавшие в боях, награждены орденами и медалями Советского Союза. Благодаря систематической воспитательной работе, проведённой комсомольцами и лично тов. Севастьяновым, боевые задачи, стоящие перед полком, выполняются успешно, а комсомольцы служат примером бесстрашия и воинского умения в бою.

Непосредственно на поле боя тов. Севастьянов проявляет личное мужество и отвагу. Так, 10. 2. 45 г. севернее гор. Ландсберга наша 2-я батарея была выдвинута впереди боевых порядков нашей пехоты. Противник обошел нашу батарею с фланга и с двух сторон атаковал её.

Тов. Севастьянов, проводивший там беседу, призвал коммунистов и комсомольцев дать врагу сокрушительный отпор.

В результате контратака врага была отбита, противник потерял до взвода солдат и офицеров”<sup>10</sup>.

Ландсберг лежит западнее Кёнигсберга и ближе к побережью Висленского залива (Фриш-гаф), сегодня он, как и Гольдап, находится на территории Польши, но намного дальше от нашей границы. Судя по траектории движения от границы через Гольдап к Ландсбергу, советская группировка войск, где воевал отец, двигалась своим манёвром, чтобы разрезать Восточную Пруссию и взять Кёнигсберг в кольцо, что и удалось в конечном итоге. Отец был на острие этого удара. 9-10 февраля он отписывал Ане Куликовой: “У нас здесь идёт жестокая война. Фрицы бешено сопротивляются, понимая, что всё их спасение (хотя и ненадолго) – это выиграть время, чтобы улизнуть из мешка в море. Пожалуй, такого ожесточения мы ещё не видели. Бои идут буквально за всё, за что можно зацепиться. И всё-таки идём вперёд, хотя и медленнее, чем в первые дни”. А 23 февраля добавил: “Сейчас здесь каждый день идут очень упорные бои – за каждый дом, высотку, рошу... Скоро на нашем участке фрицам придёт капут, мы уже недалеко от моря. Деваться им некуда, поэтому дерутся они изо всех сил, они ещё есть, хотя и потрёпанные, дезорганизованные. Тогда, вероятно, маленькая передышка, потом снова, в последний, вероятно, раз”.

Наконец, 26 марта – радостное письмо: “Сегодня у меня большой праздник – и у меня, и у всех, кто здесь со мной. В полдень мы умылись балтийской водой. Фрицам здесь – *alleskaput*, хотя это стоило и нам немало трудов”.

По окончании войны, но ещё не успев демобилизоваться, отец получил также специальную “Благодарственную грамоту”, выпущенную на основании восьми отдельных приказов Верховного Главнокомандующего товарища Сталина, за “отличные боевые действия” на территории Восточной Пруссии, где перечислены основные эпизоды Восточно-Прусской операции<sup>11</sup>.

4. Помимо боевых орденов, Н. Б. Севастьянов был награждён медалями “За взятие Кёнигсберга” (1945), “За освобождение Праги” (1945), “За победу над Германией” (1945). Награждение медалями такого рода носило массовый характер и не связано с особыми случаями воинской биографии, но свидетельствует об этапах боевого пути.

5. После войны отец продолжал получать награды. Орден Отечественной Войны первой степени в честь 40-летия Великой Победы (1985), орден Трудового Красного Знамени (1971). Медали “В память 800-летия Москвы” (1947), “За трудовую доблесть” (1961), “За долголетний добросовестный труд”, “Ветеран труда”, “XX лет победы в Великой Отечественной войне” (1965), “50 лет Советских вооружённых сил” (также 60 и 70 лет), “За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина”, “30 лет победы в Великой Отечественной войне” (также 40 лет) и т. д. В листке по учёту кадров за 1988 год он укажет просто: “Медали в связи с юбилейными датами (всего 10 медалей)”. Не раз бывал лауреатом ВДНХ, награждался соответствующими медалями. Имел нагрудный знак “За отличные успехи в работе”. И др. Велико количество полученных им почётных грамот, дипломов и т. д.

Двоюродная сестра отца, Надежда Евгеньевна Бредихина (“Нака-Мака”), была одним из двух самых близких и дорогих для отца в те годы людей, с которыми он постоянно переписывался<sup>12</sup>. Вторым человеком была его любимая девушка – Аня Куликова, будущая жена и моя мать. И сестра, и моя мама сберегли все его письма с фронта за 1943–1945 годы. Они коротенькие, ведь писались, как правило, на случайных страничках или на специально издававшихся листочках, складывавшихся потом в треугольнички. Но живые, эмоциональные, полные неподражаемых деталей. Это да еще отцовские стихи сороковых годов – единственный и драгоценный источник, раскрывающий подлинный мир чувств молодого воина из рода Севастьяновых. Одно из лучших, по моему мнению, отцовских военных стихотворений я привожу здесь; оно написано в первые месяцы его боевого пути, с этого начался его “фронтной закал”.

*Фронтные пути — невесёлые вещи,  
Если вязнет в грязи по ступицу телега,  
Если в спину солдата озлобленно хлещет  
Ревматический мартовский ливень со снегом.*

*Бесконечно далёк горизонта обрез,  
Бесконечную стала длина километра...  
Покраснело в глазах... Небо, поле и лес  
Принимают окраску ирландского сеттера.*

*И ложатся мозаикой в память неровной  
Бред и мысли, поля и проталины.  
И над всем, будто чёрною тушью рисованный,  
Вижу целой Смоленщины символ печальный.*

*Взрывы ветра броню облаков разлохматили,  
Поле выгнулось ржавым железным листом,  
И, как точка опоры для глаз наблюдателя,  
Что-то чёрное видится в поле пустом.*

*Ветер в небо стучался, рыдая в психозе,  
И, не выдержав, тучи разъехались трещиной.  
Печь, труба — и на голой берёзе  
Чёрным контуром в небе — четвёрка повешенных.*

*И усталость горячею горечью выжжена.  
И, придвинувшись, рядом стоит горизонт.  
И упрямо шагает солдат по булыжинам  
Бесконечной дороги, идущей на фронт.*

*Время память раздавит волной многотонной,  
Но базальтом застыли: висящие четверо...  
В голом поле — печная труба обожжённая,  
И окрестность окраски ирландского сеттера”.*

*Апр. 1943. З<ападн>. фр<онт>.*

В письмах отца с фронта красной нитью видны несколько главных, часто повторяющихся тем: горячие просьбы писать хотя бы краткие письма-”писульки”, которые так важны для фронтовика (просьбы сочетаются с жалобами на плохую работу почты и на неписание писем близкими), тревоги по поводу дел и здоровья родных, заверения, что у него самого все нормально и хорошо<sup>13</sup>, мечты и планы о послевоенном будущем, соединённые со страстной ностальгией по любимой Москве. Сестре отец слал также отчёты о награждениях и денежных делах (он переводил ей половину своего жалования). И во многих письмах – неколебимая вера в победу и встречу после войны. И в то,

что тогда они сделают жизнь страны лучше, чище; с этой мечтой он и вернётся с фронта в Москву...

Цитаты из писем я привожу по ходу рассказа и в тексте, и в примечаниях. Они — неложные маячки. И они подтверждают все основные мои наблюдения и выводы.

Фронтвые письма и стихи, из которых сквозит образ автора, дают уникальную возможность немного заглянуть в духовный мир одетого в гимнастёрку и шинель 19–21-летнего Никиты. Чем он отличался?

Во-первых, работоспособностью и добросовестностью. Он ведь должен был заниматься не только политпросвещением, но и наглядной агитацией. Ему, как видно, очень много доставалось оформительской работы, но он и не думал уклоняться. Пример из письма 8 ноября 1943 года: “Пришлось дико много художествовать, особенно перед двумя праздниками — 25 л. ВЛКСМ и 26 Октября. Я не вылезал из работы последние дни по 15–20 часов в сутки”. Это была замечательная школа шрифта и рисования, в дополнение к тому, чем он занимался в Туруханске.

Во-вторых, важная черта отца — он всегда выделялся жадной тягой к учёбе, к знаниям, буквально страдал от недогруженности интеллекта и обращался к сестре с такими просьбами: “Если примут, пошли пожалуйста бандеролью какой-нибудь английский учебничек. Как-нибудь выкрою время, надо мозги приводить в порядок, даже и в военное время” (10 января 1944); “Если можно, то вышли лучше немецко-русский словарь, ведь мне приходится быть по совместительству переводчиком. Русско-немецкий словарь у меня есть, а вот читать немецкие документы и т. д. трудновато. Жаль, что только один год по существу пришлось учить немецкий” (23 февраля 1944). А вот своеобразная жалоба: “Взялся было изучать сначала чешский, потом венгерский языки, успел выучить 2 слова “нэмтудум” (не понимаю), как уже пришлось прекратить и это занятие: нет ни пособий, ни самих венгров на 10 вёрст в округности” (10 июля 1945).

Но и это, пожалуй, не главное. А главное — закалка нравственного стержня в огне войны. В начале своего боевого пути он шутило писал с фронта 31 мая 1943 года: “Да, дорога сеструха, то, что я вырос в большую орязину — это совершившийся факт. Многое стало понятным, больше стало неясного, но во всяком случае, я за свои 19 лет могу отвечать. Ну, а здесь — тоже неплохой университет. Дела мои идут, мой “самовар” (миномёт. — А. С.) работает чётко, хотя сначала практика показалась непохожей на теорию. Как и вся фронтвая жизнь сначала кажется чем-то непохожим на всё читанное и слышанное”.

В этих словах — своего рода заявка на будущее постижение мира и человека. Но, конечно, на фронте парнишки созревали куда быстрее, чем в мирной жизни. Истинные ценности становились очевидными, неистинные — облетали, как ветхая шелуха. И вот через полтора года, в новогоднем письме от 1 января 1945 года он резюмирует:

“Ты удивляешься, глядя на нашу братию, как незаметно мы из шпанят выросли. Да, Надюшка, особенно за последние военные годы. Приходится (здесь и далее подчёркнуто отцом. — А. С.) быть взрослым. По возрасту (не по росту) я же по существу пацанёнок — 20 лет, даром что старший лейтенант и кавалер орденов Отечественной войны 1-й и 2-й степени. Только, Надюшка, все эти чины и проч. причиндалы так мало радуют. Пожалуй, позавидовать особенно нечему. Я “руководящий товарищ”, со мной считаются люди в 1,5–2 раза старше меня; только всё это не то, всё это так надоело. Причина — характер моей работы. Я делаю её как нужное, но нелюбимое дело. Я плохой дипломат, и если я не могу дураку сказать в лицо, что он дурень, тогда хочется бросить всё к чёрту. Когда идут бои, это сглаживается — перед лицом смерти дураки становятся на своё место, чины и звания уходят на задний план, на первом плане — человек. В затишье это всплывает снова. Вот поэтому-то так тяжело оно переносится. Поэтому и радость вся — в письмах, в мечтах (выражаясь романтично). Поэтому невыносима для меня мысль, что звёздочки на погон мне давали не для того, чтобы их потом можно было снять. Сниму, сеструха, сниму, чего бы мне это ни стоило, ассенизатором буду, без чинов и званий. С голоду не подохну — руки и голову надеюсь сохранить, полы натирать, паять примуса буду, но найду работу по вкусу. Ну вот, Надюшка, тебе изложение моей обер-мечты”.

Фронт научил его смотреть в суть вещей, не отворачиваясь, не опуская взор. Вот письмо сестре от 8 ноября 1943 года: “Вот сейчас кончилась рисовальная работа, за которой можно было не глядеть на шагистику, и снова время заполнено наполовину шагистикой, чтением морали о моральном и культурном облике офицера (красивая мораль, но на 90% несуществующая и поэтому наводящая на неприятные размышления)”.

От неприятных размышлений недолго было и до столкновений с неприятными проводниками этой морали, но он и тут не уклонялся с пути, шёл на принцип. Видимо, среди политработников, как водится, обреталось немало всякой швали, с которой отец естественным образом конфликтовал. Из письма 15 февраля 1944 года: “Недавно пришлось ездить к большому начальству, чтобы прислали разобраться кого-нибудь в моих недоразумениях с маленьким начальством”. И вот конкретный результат (письмо сестре от 17 мая 1944 года): “Работается мне сейчас полегче, двух прохвостов сняли, но их всё-таки ещё порядком. Помнишь Маяковского: “Дрянь пока что мало поредела...”? Ну, да ничего, не пачкайся сам, дрянь не пристанет, а вычистить их — вычистим”.

Он и сестру настраивал на стойкость и сопротивление — такой, знать, был у него характер (письмо от 13 декабря 1944 года): “Дорогая моя сеструха!.. Дела-то мои идут по-прежнему, только злят такие же люди, как твой начальник — такие модернизированные молчалины везде есть, будь они трижды неладны. У тебя на них, конечно, особенно противно смотреть, я это понимаю. Да только пусть лучше они не пробуют нас перевоспитывать, это может кончиться для них только скверно. Ты не расстраивайся особенно, сеструнька, из-за этой дряни”.

Подобный мотив и в письмах Ане, например: “По-прежнему поругиваюсь с начальством и жалею, что здесь не “гражданка” и нельзя сочетать вслух слова “шкурник”, “мерзавец” с некоторыми работниками. Впрочем, мне, кажется, удалось прошибить стенку лбом (если мне не расшибут лоб об стенку)...” (14.02.44). Или вот ещё весьма характерное признание: “Внутренняя [обстановка] тоже невесёлая — я наверно когда-нибудь здоровую получу взбучку (если совсем голову не свернут) за непочтение начальства. Так надоело видеть одни и те же высокие физиономии с непостижимо развитыми холуйскими способностями и полным отсутствием собственной мозги (хотя бы разных увидеть!). Ну, а впрочем, и разных видеть не хочется, всяких насмотрелся; просто нужно побольше умных и честных людей. Иногда хочется закрыть глаза и видеть всё в розовом свете, да нельзя, знаю, что открыть всё-таки придётся и тогда больнее будет, это уже испытано, что называется, на практике. Лучше всё видеть, стараться всё понять и не прощать ничего никому...” (06.01.45).

Заканчивал войну оптимистом: “Дела мои идут по-прежнему хорошо, воюется легко и радостно. После всего, что виделось, я крепко верю, что всё кончится скоро и благополучно” (Ане 12.03.45). Но... “Единственно, что пакостит иногда настроение — это отечественные олухи и проходимцы, которые, вопреки здравому смыслу, ещё сохранились” (сестре 05.03.45).

Подобная принципиальность, непримиримость к глупцам, пошлякам, демагогам, карьеристам, втирушам, лизоблюдам, спекулянтам, подлецам, людям без чести осталась у него на всю жизнь, он не терпел таких рядом с собой и не скрывал своего к ним отношения. Надеялся свести с ними счёты после войны и делал это потом, как мог.

Внутренний конфликт особенно обострится после возвращения с фронта в мирную, но изрядно подгнившую изнутри Москву. Но ещё на фронте после московской побывки у него сформируется чёткое представление о “двух Россиях”. Об этом он вполне ясно высказывался в стихах, например, в небольшой поэме “Россия” (03.10.43–09.01.44, Суходрев — Западный фронт):

*Есть две России, если ближе  
В людей взглядишься и в года.  
Одну — до злобы ненавижу,  
А за другую — жизнь отдам.  
.....  
Их две — могучие, большие...  
Но в диком пламени войны  
Родится ль новая Россия —  
Медаль без задней стороны?*

*И если боем сделать надо  
Дорогу в будущую Русь,  
Так в этой просеке громадной  
Я щепкой быть не откажусь!*

.....  
*И войны свой конец имеют,  
И солнце светит за грозой.  
Я верю: срежет мать-Расея  
Свою любимую мозоль*

*И на своём солдатском теле,  
Прошедшем смерть и грязь траншей,  
Январский снег и грязь апреля,  
Возьмёт к ногтю окопных вшей.*

*И всё, что жизни жизнь калечит,  
Вся пошлость, мелочь, грязь и гнусь —  
Об этом пусть не будет речи  
В тебе, о будущая Русь!*

*Считаю годы, дни, часы я.  
Они пройдут волной атак,  
И будет вымыта Россия.  
Да будет так. Да, будет так!*

Это — искреннее, задушевное. Критический настрой с элементом юношеского негативизма и максимализма можно найти и в других отцовских стихах 1940-х годов, как военных, так и послевоенных (“Курсантское” — 25.10.42, “Офицерское” — 17.01.44), а особенно — в большой итоговой поэме “Возвращение” (1945-1946). Но о ней позже.

Мне показалось интересным и несколько странным, что в письмах отца Москва превратилась в своего рода символ, в котором слились воедино и образ России, и всепобеждающий идеал нашей правоты в войне, и конечная цель его личного военного похода через время, пространство, тяготы и страдания. Чуть позже он посвятит Москве такие строки:

*Война казалась для нас экзаменом,  
Москва была желанным дипломом  
.....  
Бери, родная, бери, любимая,  
Нашу солдатскую жизнь и усердие,  
Лишь бы стояла ты, несокрушимая,  
Символом Родины, правды, бессмертия!*

Как помнится, уже в одном из первых писем с фронта Никита признаётся, что “в свободные часы всё-таки Москва вылазит откуда-то из закоулков черепушки”. Это странно — потому что ведь ранние детские впечатления были очень отрывочны, а сознательной его жизни в Москве было не так уж много, с 1936-го по 1939 год всего лишь. С одиннадцати до пятнадцати лет, это для человека даже уже не возраст импринтинга (5-6 лет) и ещё не возраст возмужания (16-18 лет). Ну, и короткие побывки “пятой осенью”. И все. Явно недостаточно, чтобы настолько проникнуться Москвой, так уж её прочувствовать, полюбить. Однако вот как он пишет сестре о Москве:

— “Я сплю и вижу *ты Moscow*, жду писем из Москвы...” (21.10.43);

— “Жду не дождусь того дня, когда последний разок поднажмём и — *nach Moskau!*” (14.01.44);

— “Дела — то есть жизнь и работа — идут нормально. Тишина эта временная надоела ужасно. Она отдаляет от меня Москву, всё, что мне близко и дорого, увеличивает моё пребывание в офицерах — сиречь недоучках... Вот сегодня дежурю, сейчас 4 ч. ночи, а у выхода из землянки такое амбре черёмуховое. И всё время Москва из башки не вылазит — 1,5 дня езды, когда ж они будут? Я в них верю, несмотря ни на что” (29.05.44);

– “Условия прекрасные (пишет из госпиталя. — **А. С.**), физически чувствую себя отлично, но всё это меня мало радует, для меня осталось 2 места на земном шаре: фронт и Москва, а вовсе не Смоленская губерния” (29.06.44);

– “Живём тихо и мирно пока. Но скоро снова, — надеемся, что последний раз, — будем рвать. Скорее бы! Ужасно хочется, сестрёнка, увидеть Москву хоть одним глазом. Ну, да после конца войны я все равно буду дома, чего бы мне ни стоило” (23.09.44);

– “Всё время думаю о Москве. Сегодня ведь год, когда же, наконец, снова мы будем вместе и не на два дня? Вот поэтому так и хочется скорее вперёд, и наплевать и на огонь, и на осеннюю слякоть и прочие неудобства” (01.10.44);

– “Дорогая моя Накса, у меня всё идёт по-прежнему тихо, всё по-прежнему, только ещё больше хочется в родную Москву. Немного даже обидно — кому-то удаётся по 2-3 месяца в полном здравии ошиваться в Москве, а тут сидишь и мечтаешь об одном-единственном дне — потом можно бы ещё год воевать” (21.12.44);

– “Сеструшка, родная, вот идёшь и думаешь — как хочется дойти до конца, а потом совершить молниеносный марш на Москву! Надоели уже все эти заплывшие жиром прусские фольварки, города и деревни. Очень хочется родного, русского. Верю в то, что скоро это будет” (2 февраля 1945 года, в свой день рождения);

– “Фрицев скоро здесь доколотим. А потом — *zuerst nach Berlin, dann nach Moskau*” (на штемпеле ПП: 15.03.45);

– “Какова-то обстановка в Москве? Во всяком случае, всё-таки не теряю надежды выбраться из мадьярских прерий хотя бы в конце лета” (10.07.45);

– “Даже зло берёт! Бывало, за год 1-2 сна увидишь, а сейчас пятую ночь подряд Москва снится. Ну, да авось сон явью станет” (21.05.45). И в тот же день — Аноше Куликовой: “...А сейчас больше всего хочется быть в Москве. Честное слово, я далёк от всякого суеверия, но пятые сутки подряд Москва снится, и поэтому ужасно не хочется просыпаться”.

Ещё сильнее выразился он в письме к Ане от 4 мая 1944 года: “Если не Москва, то пусть пекло, только не эта дурацкая тишина. Я верю, что и из пекла выйду не поджаренным, зато ближе будет Москва, всё, что мне дорого, для чего я живу и лезу в это самое пекло”.

Честно говоря, со стороны это немного напоминает идею фикс; я объясняя это, во-первых, тем, что только в Москве у Никиты оставались по-настоящему родные люди — Бредихины, Забугины. Ведь связь с ленинградскими родственниками была практически потеряна. А с дядьями Севастьяновыми — Владимиром и Игорем — связь не поддерживалась. Кроме того, понятно, что всеми силами нерастраченной и закалённой в боях и походах юности он рвался к любимой москвичке — Ане Куликовой. А во-вторых, Никиту манил физмат МГУ, и другой возможности реализовать мечту стать физиком-ядерщиком не было.

Мечты и сны о Москве сливались с раздумьями и планами о послевоенной жизни. Главное — остро хотелось, как растущему богомолу, осуществить линьку, “сменить шкуру”. Поменять мундир на штатский костюм<sup>14</sup>, получить гражданскую профессию. Об этом — в уже цитированном выше январском письме 1945 года. Да и в других письмах каждый раз с новой силой:

– “Сейчас на немецкой границе удивительно спокойно, но скоро мы всё-таки дошибём фрицев. Милая моя сеструха, как хочется этого поскорей. Только об этом и думается. Не верю я ни в бога, ни в чёрта, только верю, что увижу этот день, когда можно будет делать, а не ломать, сменить гимнастёрку на пиджак. Пока это нужно, я не хочу уходить отсюда, хотя дурацкая офицерская этика мне надоела — хочется ворочать, делать своими руками. Ну, а тогда я — слуга покорный, и звёздочки — с плеч да в планетарий, чего бы мне это ни стоило” (19 августа 1944);

– “У Аношки и Лазика<sup>15</sup> начинается новый студенческий год. Немножко обидно, сестрёнка, я ведь так отстал за эти годы. Правда, я научился понимать жизнь (не “жить” — этому я никогда не научусь), научился и ценить жизнь — ну и только. Ломать научился. А мне не ломать хочется. Вот об этом и думается всё время. Буду жив (а я верю, что буду), после войны сменю своё социальное положение, чего бы мне это ни стоило, упрямства хватит” (1 октября 1944);

— “Сейчас это, безусловно, дело времени, и надо что-то придумывать для сокращения этого времени и для перевода моего на рельсы мирного развития. Со своей стороны я, конечно, пушусь во все тяжкие, возможно, придётся и побузить. Но надо ещё что-нибудь выдумывать и насчёт закрепления на этих самых рельсах мирного развития, потому что иначе, честное слово, не стоило дожидаться до конца войны (это вполне серьёзно, т. к. паразитизм мне надоел хуже горькой редьки, а иного пути здесь, в зелёной одежке, я для себя не вижу)” (21 мая 1945).

Сделать это действительно было непросто, Советская армия не отпускала офицеров так запросто, по собственному желанию. Поэтому “пуститься во все тяжкие”, “побузить” следует понимать: уволиться из рядов армии, вырваться, пусть даже со скандалом. Он рассматривал и такой вариант; писал Надежде Бредихиной довольно откровенно: “Вся беда для меня заключается именно в том, что добраться [до Москвы] нелегко (собственно говоря, не добраться, а выбраться). Россия отсюда пока плохо видна, да и вообще всё пока в густом тумане. Правда, этот туман должен скоро кончиться, но после него погодка тоже не улыбнётся. Видно, придётся лежать в дрейфе, пока сам не сделаешь бурю” (13 июня 1945). И даже готов был ради демобилизации пожертвовать здоровьем, подставив раненое плечо под нож хирурга. Накануне 1 сентября — начала учебного 1945/1946 года — он пишет сестре: “Как ты думаешь, Надюрка, если мне в Москве лечь на операцию — вытащить осколок? Ты меня понимаешь?.. Неужели у меня пропадёт и этот учебный год? Даже если операция испортит мне на некоторое время левое плечо, всё-таки я эту зиму хочу использовать”.

К счастью, делать этого не пришлось, но о том ниже. А закончить тему фронтовых писем я хочу уникальными признаниями отца — отвоевавшего солдата, солдата-победителя, только что окончившего свою страду. От них веет такой прелестью подлинности, они так переносят нас в тот счастливый и победоносный май...

“Дорогая моя сеструнька!

Вчера кончилась война и для меня. Это были дни маленького физического, но большого морального напряжения, и поэтому я не хотел писать писем никуда, пока не кончится всё.

До сих пор ещё плохо верится, как-то уже вошло в привычку останавливаться, чтобы снова пойти “вперёд на Запад”. И только полная тишина, такая странная, непривычная, да бесконечный поток людей на восток — освобождённых, возвращающихся, пленных — напоминает, убеждает.

Как будто очень большой груз скинули все, особенно солдаты. И нечего делать сразу, и скучно как-то, и только об одном думается — скоро, если не совсем, то в отпуск; теперь это наверняка; значит, не зря верил, и всё, пожалуй” (13.05.45);

“Родная моя Накса! Вот и получил твоё первое письмо “мирного периода”. Ещё раз крепко тебя целую и поздравляю с победой. Нам пришлось после, так сказать, конца войны повоевать ещё 2 дня. Сейчас ещё нет-нет, да и ощупаем друг друга — живой и тёпленький, аж чудно кажется” (21.05.45);

“Анюшка, родная, вот и кончилось всё. Вчера попрощались с последними товарищами, которые останутся здесь навсегда. У нас тут победа несколько запоздала, но теперь всё кончено. И тишина, тишина. Как-то странно, и почти не верится, что не нужно больше готовиться к следующему бою. Люди как будто выбились из обычной колеи, и всё кажется ненастоящим; только когда смотришь, как идут колонны пленных, понемножку убеждаешься, что это действительно, а не газетная статья. И как-то особенно хорошо, радостно думается о Москве и ни о чём больше. Наверное, так думает каждый, кто знает, что есть место, где его ждут” (13.05.45).

На самом деле война ещё не совсем закончилась для Никиты Севастьянова: впереди ещё будут и смертельная рукопашная схватка с власовцами в Венгрии, и попытка бандеровцев отправить в пропасть поезд с возвращающимися домой через Карпаты советскими солдатами...

Ну, а главный фронт — протяжённостью во всю жизнь — ждал его, конечно, в мирной Москве, в мирной России. И тут фронтовой закал и опыт солдата Великой Отечественной войны не всегда, увы, могли пригодиться...



Кое-что про боевой путь отца я могу рассказать, опираясь на свои воспоминания и некоторые документы из архивов, семейного в том числе.

Отцу воевалось морально легко, в полном согласии с честью и совестью, ведь у него не было по большому счёту противоречий ни с Советской властью (он искренне исповедовал коммунизм и ничего не знал о причинах гибели своего отца Бориса, о белогвардейском прошлом родителей), ни, тем более, с Родиной и народом, которые он защищал. Неудивительно, что и на фронте, как в школе, он был комсоргом. В 1943 году на Западном фронте он вступил кандидатом в члены КПСС в условиях, когда некоторые ещё предпочитали сжигать или закапывать свои партбилеты<sup>16</sup>, а через год, в июне 1944 года был принят в партию. И за всю жизнь не подал повода ни для одного партийного взыскания.

Из того, что было написано о войне, папа безоговорочно признавал лишь две книги: “В окопах Сталинграда” Виктора Некрасова и “Василия Тёркина” Александра Твардовского<sup>17</sup>. Эту поэму он и мне, мальчику лет двенадцати, читывал порой вслух частями. Выразительно, со вкусом, как что-то очень близкое, своё, родное. Эпизод, в котором Тёркин схватился с фрицем врукопашную, как я понимаю, напоминал ему что-то личное (я знаю, что он убил, как минимум, одного немца в ближнем бою<sup>18</sup>).

Отец прошёл с миномётом, а потом с противотанковой пушкой всю Смоленщину, Белоруссию, Восточную Пруссию, Польшу, Чехию, Венгрию. Вообще, ему довелось сражаться с представителями разных народов, поставленных Гитлером под ружьё и выставленных против нас. Но только немцев он считал “настоящими вояками”, высоко отзываясь об их боевых качествах<sup>19</sup>. Это был достойный противник.

Отец не часто рассказывал о войне, а только к случаю и весьма скупно. Опыт войны был как драгоценность, которую нельзя разменивать, а следует извлекать на свет только для урока. При этом он, как ни странно, вспоминал войну как по-своему лучшие, счастливые годы потом уже недостижимой искренности между людьми и большой свободы мысли и слова, ведь недаром ходила у них поговорка, большой он с удовольствием повторял: “Дальше фронта не пошлют”. Хотя на самом-то деле посылали, бывало, и куда дальше и страшнее. Ну, и, конечно, ежедневная готовность к смерти проявляла в людях их последнюю, главную сущность...

Из рассказов отца о войне я записываю здесь всё, что помнится с детства. Кое-что по поводу ранений и наград я уже привёл выше.

А вот некоторые другие эпизоды.

Отец как-то попрекнул меня несколько высокомерным отношением к людям. Я тогда (мне было лет 12-13) безумно увлекался “Героем нашего времени” Лермонтова. Печорин был для меня образцом, мы с приятелем и соавтором Димкой Долгим даже создали “Клуб поклонников Печорина”, в котором, правда, кроме нас, никого не было. Вообще, я сильно втянулся в русскую классику, уже начал читать подряд собраниями сочинений Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Тургенева, Куприна, Чехова – и контраст того мира, к которому я всё больше прикипал душой, с тем обывательским мирком, полным лишь заурядности, который повсеместно процветал в Калининграде, раздражал меня и ранил. Глядя на окружающих, я не видел ни тех людей, ни тех чувств и мыслей, ни тех манер, которые уже успел полюбить у старых русских, до советских писателей. Мне было душновато и тошновато в окружающей среде. И поэтому я порой испытывал ранние приступы мизантропии и даже записал в своей первой записной книжке очень откровенную и много значащую фразу: “Я не люблю людей за то, что они не великие”.

Так вот, отец подметил это моё состояние и сказал однажды, что и он когда-то в юности чуть не заболел подобной болезнью (его тоже ранила и отталкивала человеческая серость, мелкотравчатость, приземлённость) и что от неё его раз и навсегда вылечила война. И как пример привел тот самый случай, когда его, раненого, вынес на себе с поля и спас от смерти уцелевший из их расчёта боец. А между тем боец этот в их маленьком коллективе был отверженным, изгоем, поскольку происходил, вообще-то, из низов общества и отличался пристрастием к алкоголю. То есть уж от него-то подобного подвига можно было ждать лишь в самую последнюю очередь. А вот поди ж ты!

В решающую минуту боя в нём проснулся совсем другой человек, которого они не знали, не видели. Об этом, кстати, он еще во фронтовом письме написал моей маме так: "... Расскажу об одном человеке, которого я никогда не забуду. Санинструктор одной из наших батарей – дядя Ваня (фамилия его Тараканов, но звали его все "дядя Ваня") – был до войны рабочим на мельнице. Широкое лицо, жёлтые усы, смешливые глаза и окающая вологодская речь. Ему было 45–48 лет, семейный солидный человек. И была у него одна слабость – водку не мог он видеть равнодушно. Не торопясь, солидно, он, что называется, набирался до чертиков, если только никто ему не мешал. Сажали его за это в ровик, грозили отправить в штрафную роту, убеждали на совесть, смеялись над ним – ничего не помогало. "Люблю!" – и дело с концом. А вот под Оршей он совершил подвиг, и сделал это так, как, наверное, раньше таскал чувалы с мукой. В бою 24/VI-44 г. он вытащил 9 раненых (в том числе и меня) с поля боя, перевязал нас, а потом встал да тут и брякнулся. Протёр глаза и говорит: "Ребята, у кого руки целы, меня перевяжите". Старикан был ранен осколком навывлет в правую сторону груди. Так мы потом его (у кого ноги были целы) на себе в санчасть притащили. Не берусь тут клеить ярлык – герой он, святой или пьяница, пропащий человек, малограмотный рабочий" (18.04.45).

Мораль была ясна: не надо относиться свысока ни к кому, ибо кто знает, что у него в душе. Этот рассказ не изменил меня в корне, конечно, но некоторые коррективы в мою позицию внёс.

Несколько рассказов было связано со штурмом Кёнигсберга, ведь в этом городе нам довелось жить, а ему – жить, работать и умереть. У отца, как я понимаю, было особое отношение к Калининграду, который он взял с бою, как оказалось – для себя, хотя во время штурма даже и предположить этого не мог. Тут чувствовалась рука судьбы, конечно, и ему был дорог этот трофей, сироте, не знавшему, не имевшему отчего дома. Он любил узнавать новое о прошлом этого города и охотно рассказывал эпизоды штурма, форсирования Прегеля ("вот тут примерно, недалеко от Биржи, стояла моя пушечка, а я должен был вести обстрел железнодорожного моста", "после бомбёжек союзников деревья вдоль улиц горели, как факела" и т. д.).

Некоторые рассказы носили весьма непарадный характер, раскрывая изнанку войны. Помню, с каким удивлением я узнал от отца про существование РОА ("Русской освободительной армии", власовцев, попросту). Он относился к ним без всяких сомнений и сантиментов как к врагам и предателям, не вникая и не желая вникать в их мотивы. А рассказал о них в связи с историей крепости Балъга, в которую я был влюблён со всем пылом юношеского романтизма. Побывав на этих живописнейших руинах ещё дошкольником и необычайно впечатлившись (тогда там ещё в самой крепости, в леске, выросшем вокруг, на побережье залива Фриш-гаф и по всем окрестностям во множестве валялись человеческие и конские кости, черепа, ржавое оружие, в том числе пушки и пулемёты, неразорвавшиеся мины и бомбы, остатки амуниции и транспорта и т. п.), я, став постарше, с восьмого класса ходил туда берегом вдоль залива на 7 ноября вместо добровольно-принудительной "красной" демонстрации. К тому времени сапёры и санитарные службы там всё уже более-менее прибрали, и только ржавых патронов можно было насобирать много, чтобы потом добывать из них порох.

Так вот, отец рассказал мне о последней страничке боевой истории этого древнейшего замка, самого первого из тех, что поставили крестоносцы на земле Восточной Пруссии ещё в 1239 году. Но я начну рассказ издали, соединив две истории, связанные со штурмом Кёнигсберга в апреле 1945 года.

Наступление Красной армии было трудным, но неудержимым, и нам удалось отрезать Восточную Пруссию и взять Земландский полуостров в кольцо, которое должно было вскоре сжаться. На этот манёвр ушло немало времени: с октября 1944-го по март 1945 года. Конечно, планировалось продвигаться куда быстрее. Но не тут-то было! Вмешалось, в частности, непредвиденное обстоятельство.

Дело в том, что, гонимые смертельным ужасом перед неизбежным возмездием советских людей, местные обитатели городков, сёл и фольварков бежали под защиту фортов и гарнизона Кёнигсберга, побросав всё своё имущество, весь свой скот, птицу, немалые запасы продовольствия<sup>20</sup>. Советская армия, все годы войны питавшаяся весьма однообразно и небогато, не устояла,

разумеется, перед невиданным изобилием, доставшимся от запасливых немецких селян, – и в результате всех прошиб неудержимый понос, массовое несварение желудка. Наступление оказалось сорвано, армия встала, не в силах двигаться дальше. Ситуация осложнилась тем, что многие советские солдаты, по незнанию, в качестве подтирки стали использовать мягкую на вид стекловату – она использовалась немцами как утеплитель и торчала ключьями из стен некоторых разбитых домов. Начались тяжелые нагноения, заражения крови. . . Начальству пришлось даже издать специальный приказ: стекловатой зад не подтирать! Смех и грех.

Но вот наступление началось вновь, и немцам, в огромной массе стянувшимся, сгрудившимся в Кёнигсберге, пришлось совсем плохо, поскольку двойное кольцо фортов оказалось не таким уж и непроницаемым для нашей, уже овладевшей всей боевой наукой, армии, а с неба население безжалостно уничтожали ковровыми бомбёжками союзники: англичане и американцы. Эти уже знали, что область и город отойдут к СССР, и не щадили никого и ничего, выбамбливая весь центр и превращая его в поля битого кирпича. В принципе город (в смысле его гарнизон) мог бы держаться ещё долго, но комендант Ляш понимал, что каждый день сопротивления грозит гибелью многих тысяч ни в чём не повинных мирных людей, которым уже не спрятаться в фортах, блиндажах и дотах. И 9 апреля он сдал город советскому командованию.

Немцы – народ дисциплинированный: капитуляция есть капитуляция, раз война окончена, оружие следует отложить в сторону. Большинство немецких солдат и офицеров предпочитали спокойно сдаться в плен. Однако ещё до капитуляции эсэсовцы и власовцы твёрдо знали, что пощады им не будет. (Власовцев, по словам отца, мы в плен не брали принципиально, уничтожали всех до единого на поле боя как предателей. Кстати, Александр Солженицын в своих воспоминаниях подтверждает наличие власовцев в Восточной Пруссии, ведь Гитлер не доверял им и разрешил использовать в боях, только когда дело дошло до защиты “фатерлянда”.) Предвидя скорый и бесславный конец обороны Кёнигсберга, этот не желавший капитулировать контингент, нагруженный оружием до отказа, двинулся на побережье залива Фриш-гаф, к Хайлигенбалу (ныне Мамоново) и Бальге. Колонны заняли весь берег и окрестности на протяжении нескольких километров. Эти люди надеялись, что из военного порта Пилау (ныне Балтийск), замыкающего выход из залива, подойдут подводные лодки и другие корабли и вывезут их из западни. Они не знали, что вместо немецких лодок в залив вошли наши боевые суда.

Годы спустя мне довелось видеть на материалах панорамной аэрофото съёмки жуткий вид сверху на поле боя, снятый самолётом-разведчиком, когда отгремели взрывы снарядов и бомб. С моря эсэсовцев и власовцев расстреливали корабли, с суши подтянулась и била прямой наводкой наша артиллерия (вот тут-то и был мой отец со своей противотанковой пушкой), а с неба утюжила штурмовая авиация. Всё побережье представляло собой картину адской мешанины: люди, лошади, техника всех сортов лежали вперемешку – живой на мёртвом и мёртвый на живом, как говорится. Хотя живых, вообще-то, не осталось<sup>21</sup>.

Такой была первая встреча отца с армией русских предателей, с РОА.

Вторая произошла в Венгрии, уже в мае 1945 года. Наша колонна шла маршем по шоссе, обсаженному деревьями, где-то недалеко от Будапешта. По обе стороны шоссе какие-то голые до пояса люди (жара ведь) копали какие-то траншеи или канавы, наверное, для дренажа. Кто их знает? Когда вся колонна втянулась между этими землекопами, те вынули из канав автоматы и стали с двух сторон поливать “кинжальным огнём” наших бойцов. Оказалось, это недобитые власовцы, которым уже некуда было бежать и негде скрываться. Размышлять тут было некогда, наши бросились к этим стрелкам в канавы, у кого с чем было, а кто и с голыми руками. Отец бился сапёрной лопаткой. Я видел во время рассказа по его потемневшему и посуровевшему лицу, что ему было что вспомнить об этой рукопашной.

А для меня всё в этом вопросе встало на своё место раз и навсегда. Спусти много лет, когда наше глубоко больное общество в 1990-е и 2000-е среди прочих провокационных кампаний подверглось ещё и пропаганде гитлеризма, и одна за другой стали проявляться попытки реабилитировать и даже возвеличить Власова и иже с ним как “истинных борцов за свободу русского

народа”, я не смог остаться в стороне. Взглянул за серьёзные источники и написал книгу “Победу не отнять! Против гитлеровцев и власовцев” (М.: Яуза, 2010). Мысленно я считал, что в том бою встал с отцом плечом к плечу. Никакие иллюзии по поводу власовцев или бандеровцев для меня невозможны: это смертельные враги наши, переданные мне отцом по наследству. И мне, и потомкам моим завещано ненавидеть их и бить, где и как только возможно.

А вот ещё эпизод, связанный с Кёнигсбергом. Город был уже нами взят, и отец с однополчанами шёл по нему вечерним патрулём, когда в одном из домов раздалась автоматная очередь. Они ворвались в квартиру, откуда доносились выстрелы, и увидели, что пьяный в дым и едва стоящий на ногах солдат стреляет из автомата по кошке, подвязанной к люстре. Отец вырвал у него автомат, сбил с ног: “Что ты делаешь, скотина?!” – “Я мстю”, – с трудом выговорил тот... Отец спросил, откуда он, выяснилось, что из Сибири. Подобные “мстители” встречались отцу не раз и потом, и каждый раз выяснялось почему-то, что это выходцы из регионов, не бывших под оккупацией и не хлебнувших немецких зверств. Впрочем, как то помнится из отцовских же стихов, для того, чтобы зарядиться жаждой мести, достаточно было пройти разорённой Смоленщиной...

Вообще, воспоминания отца о поведении Советской армии на территории врага отдавали порой горечью и смятением совести. Командованием были установлены весовые квоты на посылки с трофеями, отправлявшиеся солдатами и офицерами домой, в СССР. Имели место плакаты типа “Боец, ты хозяин Восточной Пруссии!” И многие бойцы оказались не так уж щепетильны и брезгливы, и это удручало отца. Мне запомнился с его слов некий политработник, подполковник Крот, который, вороша палочкой немецкое тряпье и выудив из кучи, к примеру, закаканные детские ползунки, приказывал ординарцу: “Подбери, дома отстирают”. И т. д. Сохранился выразительный карандашный рисунок отца, на котором изображён красноармеец с ППШ, роющийся в чьих-то брошенных чемоданах, с надписью “Мародера спугнули”, что само по себе выдает его отношение к этому делу. Конечно, на Руси всегда считали, “что с бою взято – то свято”. Но для отца граница допустимого явно проходила совсем не там, где для многих других. Сам он не привёз с фронта ни часов, ни авторучки, никакого памятного предмета, если не считать осколок снаряда под лопаткой и прожжённую у солдатского костра шинель. В мартовском письме 1945 года он писал сестре вполне определённо: “Надюшка, ты пишешь, что хочешь послать мне посылочку; не беспокойся, родная моя, ведь у меня тут всё есть; да кроме того, ты напиши, что тебе нужно, отсюда можно отправлять в посылках трофейные вещи. Я не брал ничего, потому что ты ничего не пишешь, но если надо, то достану”<sup>22</sup>. Не знаю, что ему ответила сестра, но больше трофейная тема в переписке не возникала.

А в письмах к моей маме она не возникала вообще, ей он никогда и ничего даже не предлагал. Вот что он писал ей 25 января 1945 года из Восточной Пруссии:

“Я по-прежнему цел и невредим, несмотря на все шумы. Идём по немецкой земле. Она действительно горит, и ночью бывает светло от сотен пожаров. Немцы едва успевают эвакуировать население, такого удара они не ожидали. Вся их хитроумная и действительно серьёзная система обороны распалась на куски.

Скорей бы она кончалась, эта треклятая земля. Надоели остроконечные черепичные крыши, богатые, но унылые фольварки; ну их к чёрту, так хочется к своим родным местам.

Глядя на фрицевские хаты, понимаешь 41 год: с жиру собака бесится. И неприятно, когда наши русаки дивуются на шикарную обстановку квартир. Она собрана с бору да с сосенки жирно, но отвратительно”.

Трофейная тема возникла вновь после войны, когда в ходе своего доклада на литературном семинаре И. Г. Эренбурга 17 марта 1947 года отец взялся обличать писателей-баталистов – “лакировщиков действительности” (термин той эпохи). Он сказал довольно жёстко, видно – наболело: “А святая святых наша – армия? Моральный уровень, круг интересов нашего среднего офицества? Слепому разве не ясно происхождение так называемых “фронтовых посылок”! Их можно простить – и, пожалуй, даже разрешить – целовеку, дом и земля которого превращены войной в груды пепла. Но что сказать о людях, присылавших в Москву или Ташкент (это не анекдот) всякую

рухлядь автомашинами? О людях (и немаленьких), которые, чтобы послать вместо одной две или три посылки, выписывали разрешение на имя погибших?” В вопросах морали отец умел быть бескомпромиссным.

Между тем, из Восточной Пруссии их сразу повели на Берлин через нынешнюю Польшу. Уже предвкушался конец военной страды, и отец писал матери в самый день штурма Кёнигсберга 9 апреля: “Ужасно хочется, чтобы это было последней весной, проведённой мной и тысячами других людей далеко от всего, что нам дорого. Верю крепко, что это — последний раз, “будь что будет”, а потом — большая, полная жизнь. Это — общая мечта всех нас, кто видит в войне не средство “выйти в люди”, а горькую, но абсолютно необходимую вещь”.

Однако у польской Праги их развернули на Чехословакию, а потом на Венгрию. Ярко помнится рассказ о том, как их встречали чехи: наш регулировщик-солдат на перекрёстке стоял, как столб из живых цветов, обложенный венками так, что была видна лишь голова и рука с полосатой палочкой, которой он размахивал, регулируя ход колонн. . .

Инерция разложения, коснувшегося войск на земле Германии, была, однако, такова, что, и перейдя границу, советский солдат порой забывал, где находится. Войдя в Чехословакию, как вспоминал папа, некоторые продолжали вести себя с братьями-славянами, как до того с немцами. Двоих солдат в первый же день обвинили в изнасиловании. Да ещё ко всему жертвой оказалась дочь командира местных партизан. Солдат-насильников расстреляли без долгих разбирательств, понадобились крайние меры, чтобы привести людей в чувство.

Обо всех этих “издержках” поведения победителей отец рассказывал смущённо, ему было неприятно говорить об этом, он не одобрял некоторых своих братьев по оружию, но не хотел скрывать от меня тёмные стороны жизни, о которых говорить было не принято в советскую эпоху. Отца, с его извечным правдолюбием, не устраивал такой информационный перекося, вот он и добавлял для меня разных красок в картину войны, которую в целом принимал как безусловно “священную” — справедливую, святую и героическую.

С Чехией связан более симпатичный эпизод, когда он побился об заклад со смершевцем, кто кого перепьёт (угощали их местные наперебой, спиртного было хоть залейся!). Посадили их друг напротив друга за стол, дали по кружке, какой-то сезонный закусон и выставили трёхлитровую бутылку крепкого сливового самогона — “сливянки”. Кончилось дело тем, что смершевец упал под стол и уснул, а победивший в состязании отец добрался до койки, правда, потом двое суток отсыпался.

Ну, а финалом была рукопашная драка со власовцами, потом прекраснейший город Будапешт, ночное крушение поезда в Карпатах и, наконец, возвращение в Москву 24 октября 1945 года. Отцу настоятельно предлагали остаться в армии, он, я думаю, мог бы сделать блестящую карьеру. Но к тому времени служба уже настолько ему обрыдла, что желание жить мирной, нормальной жизнью было непобедимо, о чём он не раз писал своим. Он демобилизовался “по ранению” в декабре 1945 года (уволен в запас как инвалид войны) и начал новую жизнь практически с нуля.

На моей памяти отец никогда не встречался с однополчанами, не предавался публичным разговорам и воспоминаниям о войне в застольях, не произносил тостов, связанных с войной. Но всегда надевал все награды по торжественным поводам и не отказывался выступить с трибуны в дни официальных празднований Победы. Война, не любимая сама по себе, оставалась для него тем выбором, которого он не мог не сделать, этот выбор в течение всей жизни был для него единственно возможным, предопределённым и всеопределяющим. Он просто был из поколения защитников Родины, из поколения победителей.

Нельзя не отметить в этой связи, на каком тонком волоске была подвешена вся судьба рода Севастьяновых. Если бы мой папа чудом не уцелел на войне<sup>23</sup> — никого бы не осталось от большой и дружной семьи полковника Александра Тимофеевича Севастьянова. А ведь было у них с женой Ольгой Андреевной две дочери и четыре сына. А внук по прямой линии — только один (Никита), и правнук — один (то есть я). Но, видно, Богу было угодно нас сохранить для чего-то. . .

Ничего-то мы не знаем о том, что ждёт нас в грядущем. Вывод отсюда один: детей надо делать с запасом.

## Фронтвик в новой жизни

С окончанием воинской службы для отца закончился большой и очень трудный, на мой взгляд, период его жизни. Небогатое, но счастливое детство оборвалось, когда ему было всего семь лет, после чего протекли пятнадцать лет, наполненных лишениями, опасностями, потерями. Утрата отца, принудительная башкирская ссылка, расставание на годы с родной матерью, смерть растивших его деда с бабкой, жизнь на птичьих правах в другой, пусть и родственной, семье, крайняя бедность и отсутствие многого необходимого, добровольная ссылка в сибирскую дикую глушь и, наконец, – война, фронт, гибель матери, полное сиротство, солдатская страда... Этот путь никак не назовешь лёгким и счастливым. Можно только удивляться тому, что отец вырос жизнерадостным и оптимистичным, любящим людей и высококультурным человеком, не имея для того благоприятных предпосылок. Но хорошая порода и суровая закалка сыграли в этом, как я понимаю, главную роль.

Я вообще больше всего люблю людей того поколения, преимущественно 1920-х годов рождения (родившиеся раньше прошли, в основном, мимо меня по естественной причине, а более поздние десятилетия производили уже совсем другой человеческий материал). Эпоха ставила перед ними настолько жёсткие фильтры, что человек, прошедший через них с достоинством, приобретал особую очистку, особую пробу. Почти все они уже ушли в иной мир, но моя душа верна их памяти навсегда.

Возвращением с фронта в Москву было положено начало новой жизни моего отца, всё прошлое должно было остаться в прошлом и в памяти. А новую жизнь следовало писать с чистого листа. Демобилизованному фронтвику предстояло создавать свою судьбу, идя навстречу неизвестности. Закалённый во всех отношениях, заслуживший, отвоевавший себе право на счастье, свободный и полный надежд, он встал на пороге своего будущего. Впереди ожидалось неведомое...

Потерявший родную мать в самом начале своего боевого пути, отец мой всё же не был совсем одинок на фронте и во всём мире, ему было ради кого оставаться в живых, ради кого возвращаться в Москву, ради кого создавать будущее. Я здесь говорю не о любящих родственников по линии Забугиных – это как бы само собой, без них Севастьяновым вообще пришлось бы очень плохо. Но речь о другом.

Дело в том, что после отъезда из Москвы в Сибирь и все последующие фронтовые годы он переписывался с моей мамой, которая ждала лишь его одного и игнорировала ухаживания даже весьма завидных по советским меркам женихов. Эта тонкая ниточка, натянувшаяся между московскими школьниками Никитой Севастьяновым и Аней Куликовой в 1936–1939 годах, не прерывалась<sup>24</sup>. Они оба держали её крепко, несмотря на огромное расстояние, их разделявшее, и вообще вопреки всему.

Впервые после долгой разлуки они увиделись 2 октября 1943 года в Москве, куда отец приезжал на короткие побывки с курсов политсостава. Встречались у памятника Пушкину на улице Горького. Оказалось, что их чувство, возникшее ещё на школьной скамье, выдержало проверку временем и только вспыхнуло с новой силой...

Встреч юных человечков, чьё начало жизни было так сурово обтёсано войной, было всего две, после чего для отца вновь началась военная страда. Но они имели огромное значение и оставили неизгладимое впечатление на всю жизнь. В победном мае 1945 года он напишет маме об этом так: “Говорят, Анюшка, что время стирает остроту чувств, воспоминаний, меняет желания людей. Наверное, я не людь. Мне кажется, я помню каждую минуту, каждое слово 2-х вечеров: 2/X и 17/XI 43 года. И вот уже 1,5 года каждый день я вспоминаю о них. Они как-то по-особому окрашивают мою жизнь, и так хочется не затемнить, не запачкать ничем эти воспоминания, где бы я ни был – на офицерском ли вечере или в кругу солдат, на отдыхе или в сложной обстановке боя”.

О чувствах, которые испытывал мой отец к моей матери той далёкой осенью 1943 года, лучше всего говорит его стихотворение “Пятая осень”, написанное 3 октября на перегоне Москва – Суходрев. (Пятая – потому что они ведь не виделись с лета 1939 года.) Вот оно:

*Слёзы осени пятой блестят на стекле.  
Их четыре прошло — все такие же внешне.  
Сыплет жёлтым плакучей берёзы скелет,  
И чернеет дыра опустевшей скворешни.*

*Время года по-своему каждое звучно:  
Слышу зимнюю вьюгу я в песнях России,  
А с весной, например, для меня неразлучны  
Звуки светлые Моцарта, Глинки, Россини.*

*Енисейскими зорями, пасмурно-бурными,  
На солдатском посту серым асинским вечером  
Мне Чайковский с Шопеном звучали ноктюрнами  
И тоска леденила безжалостным глетчером.*

*Я надеялся, часто не чувствуя смысла,  
И надежды о каждую осень ломались.  
И судебной повесткой к октябрьским числам  
Появлялся холодный и горький анализ.*

*Что ж? Четырежды осень прошла над планетой;  
Слышал смертных костей над собой погремушки.  
Почему же я в пятую счастлив? Об этом  
Знает лишь Александр Сергеевич Пушкин.*

*Пусть и ветер свистит, пусть серо на дворе,  
Пусть на небе не встретишь ни просини,  
Но апрельское солнце взошло в октябре  
Для меня в этой пятой, рыдающей осени.*

Я считаю это стихотворение очень честным свидетельством, не оставляющим сомнений: это была любовь, самая настоящая. Как человек, немало любивший и сам писавший стихи, я знаю, что такое подделывать нельзя. Ну, а про письмо в стихах из осаждённого Гольдапа и говорить нечего, оно само говорит за себя.

\* \* \*

Больше за всю войну отцу не удалось побывать в Москве ни разу, даже после госпиталя, но переписка шла непрерывно, и та самая натянутая между ними незримая ниточка не обрывалась.

Первое признание отец, как можно понять, сделал при личной встрече ещё тогда, осенью 1943 года. Прошёл почти год, пока он решил повторить его и задать, наконец, любимой девушке главный вопрос. 26 августа 1944 года он написал ей:

“Анюшка, мне кажется, прошлой осенью мы решили с тобой один большой вопрос. Я не жалею, Анюшка, о том, что я пришёл к такому решению. Но иногда передо мной становится вопрос, Анюшка: имел ли я моральное право вызывать тебя на решение? Ты понимаешь, о чём я говорю? Не всегда — я в этом убедился — в жизни кончается всё так хорошо, как в фильме “Жди меня”. Скажу прямо: что, Анюшка, если я не вернусь с фронта или вернусь полумертвый? Не нужно закрывать на это глаза, Анюшка, это может быть. Не окажусь ли я попросту негодяем, отнявшим лучшие твои годы?”

Дальше. Пусть этого не будет. Кончится война. Я уйду из армии, чего бы это мне ни стоило, а стоять может это многого. Что могу дать я тебе, чем отблагодарить за трудные долгие годы ожидания? Это серьёзный вопрос, Анюшка. Давай будем реалистами. Продумай эти вопросы, Анюша. Для меня твои ответы будут значить очень-очень много, но я хочу знать их, какими бы они ни были. Не бойся обидеть или огорчить меня.

Тебе тяжело ответить, Анюшка? Ответь, крепко и серьёзно подумав, и будет легче. А может быть, ты уже ставила перед собой эти вопросы, и решение готово? Тогда только написать.

Ты пишешь, Анюша, о бывших десятиклассниках, что это “неудачники”. Я сейчас не понимаю этих людей, это просто от бессилия, от отсутствия твёрдой цели.

Мы ведь другие люди, Анюша, мы знаем, чего хотим.

Никогда не побоимся смотреть правде в глаза. Я люблю тебя, Анюшка, ты это знаешь, но задавлю это чувство, если тебе оно может причинить горе”.

В нашем архиве сохранился сбережённый матерью черновик её ответа, который я хочу воспроизвести полностью, потому что он драматичен, во-первых, и судьбоносен, во-вторых. Карандашом, правка чернилами; написано, как можно полагать, 3 сентября:

“Добрый день, Ника! Отвечаю на все твои вопросы [зачёркнуто: по порядку] со всей серьёзностью [зачёркнуто: Я не сержусь, конечно, что ты резко поставил их, жизнь ещё более резко ставит их перед тобой].

Да, мы большой вопрос разрешили прошлой осенью. [зачёркнуто: Я рада, что решили его так. Ты был прав, поставив передо мной вопрос] Ты правильно сделал, что поставил его передо мной. Это внесло определённую [зачёркнуто: и уверенность] в наши отношения, которая помогает [зачёркнуто: сейчас] и тебе, и мне.

[зачёркнуто: Мне это помогает жить, поднимает голову. Я часто думаю, что я самая счастливая, потому что меня любишь ты].

Если ты вернёшься с фронта “поломанный”, я буду переживать это в такой же мере, в какой и ты [зачёркнуто: в какой это будет причинять тебе страдания и неприятности], чем легче примешь это ты, тем спокойнее буду я за тебя.

Что ты можешь дать мне после войны? Если ты будешь любить меня [зачёркнуто: мне больше ничего не надо], ты дашь мне так много, что мне больше ничего не надо.

Если нет (что очень возможно, т. к. ты не знаешь многих моих недостатков), ты мне так же прямо об этом скажешь, ведь правда?

Это будет несчастьем для меня, как бы потом ни сложилась жизнь.

Вопрос о том, что ты можешь не вернуться с фронта, ты не имел права ставить. Мы же решили, что ты должен вернуться? Должен и вернёшься, и больше слышать ни о чем не хочу. Ты будь совершенно в этом уверен и иначе мыслить просто не смей [зачёркнуто: не мучай себя этими вопросами].

Ты отнимаешь у меня лучшие годы? Придёт же такая мысль в голову! [зачёркнуто: дай Бог, чтобы ты]...

Ты (ведь в письмах я вижу тебя, твою суть [вариант чернилами: мало кто до плеча твоего достаёт]) даёшь мне так много, что никто не мог бы дать мне и половины. Сознание, что меня любишь ты, помогает мне жить, поднимает мне голову, приносит мне столько радости. Я часто думаю, что не может быть никого счастливее меня. При всех случаях я могу быть только благодарна тебе. А уверены мы в лучшем, да? Давай лапы, будь здоров и не волнуйся. Аня.

[на 4 сторонке двустороннего письма набросок варианта]

Отвечать тебе на письмо мне совсем просто и легко [зачёркнуто: иначе было у Пушкина, когда мне трудно было разобраться в себе, и я боялась ошибиться]

Вопросы эти я ставила себе [зачёркнуто: быстро и легко ответила себе раньше, чем написала тебе]. Другого ответа быть не может. Ты не мучай себя ими. Я написала то, что думаю. Пусть ни тени сомнений не останется у тебя.

[зачёркнуто: Я самая счастливая из всех девушек на свете и благодарна за это тебе]

Аня”.

У отца, получившего, наконец, этот ответ, с души свалился огромный камень, и он на радостях отвечал сумбурно, но откровенно и вдохновенно:

“Анюшка, мой славный, хороший друг! Вот наконец пришло это письмо, которого я так долго ждал! Я и верил, и боялся верить, что оно будет именно такое. Теперь я спокоен, Анюшка, мне так хорошо сегодня. Ты права, Анюшка, мы уверены только в лучшем. Пусть так и будет. Для меня нет сейчас худшего, я все перенесу легко и просто. А потом – пускай потом будет трудно, но ведь самое трудное будет позади. Ну, а сил у нас хватит, головы и руки есть.

Я рад, Анюшка, что тебя не испугал мой вопрос, что он не показался тебе неожиданным. Я решил его поставить так прямо потому, что знаю, как это трудно – ждать. Ведь мы всегда будем говорить прямо, Анюша?



Когда я получаю твоё письмо, мне тоже кажется, что я вижу тебя, рядом, близко, как тогда, почти год назад. Скоро это будет снова, мой хороший друг. Об этом я всегда, всегда помню. Анюшка, ведь это похоже на сказку: столько лет! Ведь если бы я рассказал кому-нибудь нашу историю, меня назвали бы чудачком или выдумщиком. Здесь, на фронте поневоле все радости и горести становятся общими, но они ничего про меня не знают. Они не верят в это. Эх, дурни! Верно, Анюшка?” (12.09.44).

Итак, всё решилось, хотя и заочно, зато со всей определённой. Дело было за малым: дожить до конца войны, довоевать с честью и возвратиться домой. И на этом пути любовь была и опорой, и защитой, и звездой, манящей в будущее. Недаром он писал ей 14 января 1945 года: “Ты помнишь тот вечер, когда у Пушкина я сказал тебе несколько слов, о которых так много и долго думал и которые никогда никому не говорил? Ты ответила мне, что об этих вещах не говорят. Я не жалею, что сказал эти слова. Каждая строчка твоих писем приносит мне столько радости, душевной силы... А мне с каждым днём всё дороже и дороже моё чувство. Ты знаешь, Анюшка, я внимательно присматриваюсь к жизни и чувствам моих здешних товарищей. Как часто бывает больно за людей! Как часто я спрашиваю себя: чем же я лучше других, почему я могу любить и верить, и вера моя не обманывает меня, как других?”

Долгая разлука Никиты Севастьянова и Ани Куликовой кончилась, когда отец вернулся с фронта насовсем.

Сохранилось небольшое послевоенное фото, помеченное декабрём 1945 года, на котором отец выглядит весьма браво, в гимнастерке с погонями старшего лейтенанта (на ней нашивка за ранение и следы от снятых трёх орденов справа и новые орденские планки слева). Ликом поспежел, огладились, густые волосы расчёсаны на прямой пробор, что идёт его длинному лицу, на подбородке – ямочка, в зубах – щегольская трубочка, глаза умные...

\* \* \*

Прежде всего, Никите следовало думать о будущем, а значит – поступать в какой-нибудь вуз.

Он с лёту поступил в МГУ на желанный физмат, но и тут его ждало жестокое испытание. Я не очень хорошо помню все обстоятельства тёмной истории с первым годом обучения отца. Но кое за что могу поручиться. Больше всего Никиту тогда увлекали физика и математика, он мечтал стать физиком-ядерщиком. И с блеском отучился до первой зимней сессии в январе 1946 года, которую сдал на “отлично” (помимо того, что он всегда любил и умел учиться, ему позарез необходима была повышенная стипендия). После чего его вызвали в деканат и объявили... об отчислении. – Как?! Почему?! – Потому, уважаемый студент, что выбранная Вами профессия связана с особой секретностью, а вы неоднократно бывали за границей в разных странах. – Помилуйте, я же не просто так, своей волей, был в этих странах, а действующей армией в ходе войны! – Тем не менее. Решение принято. Извините...

Мечта рухнула, отец был просто уничтожен, убит морально. Такого он никак не ожидал... Чтобы он, прошагавший всю Европу советский солдат, проливавший кровь за Родину, трижды орденносец, да ещё и отличник учёбы, мог быть отчислен из элитного вуза на этом самом основании – такая иезуитская логика ни в какой голове не могла уложиться!

Разбитый, в отчаянии явился он к Ане. А та решила за его спиной навести справки у тётки Нади. Вот тогда-то та и проговорилась ей, что не всё было ладно с Борисом Севастьяновым и что, возможно, тень судьбы отца легла в этот день на сына, на Никиту, которого все родственники обманывали, уверяя, что отец умер во время эпидемии тифа. Просто “первый отдел” МГУ проморгал, не сразу докопался до этой подноготной. А история с его “пробыванием за границей” – лишь предлог, которым воспользовались, прикрывая истинную причину отчисления. Впрочем, как я понимаю, ни в какие детали тётка Надя мою мать не посвящала, блюдя секретность, поскольку сама к тому времени была майором МГБ (хоть и медицинской службы).

Характерно, что ещё в июне 1964 года отец писал в официальной анкете: “К судебной ответственности ни я, ни мои родственники не привлекались”, – видимо, “мать-мачеха” ему ничего так и не сказала, и моя мама

тайну не выдала, и никаких подробностей о судьбе отца он так и не знал<sup>25</sup> вплоть до 1982 года, до случайной встречи с однокамерником отца.

О первой жестокой неудаче с вузом отец нигде никогда ни в каких документах не писал, и только рассказал мне устно. Но косвенным подтверждением служит тот факт, что на первый курс Мосрыбвтуза он был зачислен только в феврале 1946 года, когда зимняя сессия уже прошла<sup>26</sup>.

Что было делать? Мечта была разбита вдребезги, возврата к ней быть не могло, надо было выбирать себе иную, новую судьбу. Кстати, эта рана так и не зажила, и обида не прошла во всю жизнь...

Я в своё время интересовался, почему отец, в конце концов, остановился на судостроении, с чем связан был этот его выбор. Он объяснил. Дело в том, что в гуманитарии он идти категорически не хотел, считая, что порядочному человеку в этих интересных, но насквозь политизированных, идеологизированных науках делать нечего. И что в его время можно иметь дело лишь с науками, в которых не надо (да и невозможно) врать в угоду той или иной общественной теории, то есть – с точными или техническими. Где факт и цифра есть факт и цифра, не подлежащие никакой “идейной” интерпретации. Ещё одно ограничение: он не хотел иметь дело с военной наукой, с обороной, с изготовлением оружия. Слишком сыт был войной и всем, что с нею связано. Да и близкое знакомство с офицерским корпусом не вдохновляло на военную карьеру. Вот с этих двух принципиальных позиций отец оглядел список московских вузов и обнаружил Мосрыбвтуз, где имелся судостроительный факультет. Вспомнилось, что сам происходит из поморов, поколениями ходивших в Белое, Баренцево моря за рыбой и морским зверем, что его дед и отец были моряками, что до войны он с мальчишками-сверстниками построил на Енисее баркас своими руками... И подумал, что быть судостроителем – это хорошо, честно и полезно для людей. Так был решён его выбор на всю жизнь.

И ещё он говорил мне, что видел свою высшую задачу в том, чтобы рыбки не гибли в море, добывая для нас рыбу и разные другие полезные вещи. Возможно, тут сказалась память о дяде Георгии, погибшем на подорванном немецкой миной эсминце ещё на Первой мировой. Такая постановка вопроса очень соответствовала характеру отца в целом, амбициозному в хорошем смысле и заточенному на благо простых людей. Он, я уверен, вполне мог ею вдохновиться при выборе профессии.

Итак, Никита Севастьянов подал документы в Мосрыбвтуз и был принят в феврале 1946 года. Так в этом году начался новый этап жизни моего отца, продлившийся так же, как и первый, двадцать два года.

\* \* \*

Отцу приходилось учиться с особым блеском, чтобы получать Сталинскую стипендию и как-то сводить концы с концами, не сидеть на шее у жены. Сразу сподобиться такого вознаграждения не удалось; в семейном архиве есть копия приказа по Министерству высшего образования № 9 от 17 мая 1947 года о назначении студенту второго курса судфака Севастьянову Н. Б. стипендии имени М. И. Калинина<sup>27</sup> с февраля того года. Но стипендию имени И. В. Сталина он всё-таки получил уже с сентября 1947 года, на третьем курсе, поскольку, как говорится в характеристике, “проявил себя как дисциплинированный, с отличной успеваемостью студент”<sup>28</sup>. Стипендию эту он никому не уступал уже до конца учёбы. Судить об этом позволяют две разные студенческие фотографии с подписями, стянутые с институтской доски почёта. На первой из них папа ещё без бороды и усов, в старой гимнастёрке (без погон, конечно), на которой три ордена и нашивка за ранение; надпись: “Севастьянов Н. Б. Сталинский стипендиат”<sup>29</sup>. Здесь он явно немногим старше, чем в апреле 1945-го, да и гимнастёрка та же, только орден прибавился. Гимнастёрку, кстати, он очень любил и берёг, и продолжал носить и после окончания вуза. На последней фотографии он уже с бородкой и тёмно-русыми усами, в суконной куртке на молнии, с красивым галстуком в крупную клетку (его я донашивал, начиная со старших классов в школе и далее, он и сейчас в шкафу висит), с орденской планкой над карманом с левой стороны. Надпись гласит: “Севастьянов Н. Б. Сталинский стипендиат. VI курс”. Тогда же

и в том же виде он снялся одновременно (но не вместе) с мамой, как видно — на память, в связи с получением диплома, поскольку таких парных карточек в доме был не один комплект. Но известно, что шестой курс — выпускной, следовательно, это 1951 год, когда отец, по официальному данным, окончил вуз. Значит, первое фото мы должны датировать, самое позднее, 1948 годом, а второе — 1951 годом, и им с мамой тогда было по 27 лет. Они очень красивые — молодой красотой расцвета — и очень серьёзные, наверное, такой уж был момент. У отца, пожалуй, лёгкая грустинка в задумчивых глазах.

Между тем дела поправлялись. Никиту Севастьянова, столь заметного студента, окончившего Мосрыбвтуз с красным дипломом<sup>30</sup>, понятное дело, не могли не постараться сохранить в институте. Как он признаётся в автобиографии 1988 года, “поскольку во время учёбы я подрабатывал в качестве расчётчика в проектно-судостроительном бюро, кафедра теории корабля пригласила меня поступить в аспирантуру, предоставив одновременно возможность работать ассистентом на 0,5 ставки”. В июне 1951-го он сделался ассистентом, а в ноябре — аспирантом, выбрав себе тему “Методика проектирования китобойных судов”. Романтично!

Денег, однако, не хватало, плата за жильё давила на бюджет, молодым супругам приходилось обращаться и в комиссионку, и в ломбард. Семейной байкой стал рассказ о приёмщике ломбарда, который в голос не диктовал, а прямо-таки декламировал по поводу отцовской одёжки: “Тулуп мужской овчинный чёрный // На старой порванной подкладке!”

Проблема с жильём по-прежнему донимала, не позволяла нормально жить, вести хозяйство, заводить детей. В сохранившемся первом послевоенном папином паспорте (выдан 7 января 1946 года) живого места не было от множества штампов о временной прописке, поскольку менять место жительства приходилось не раз<sup>31</sup>. Но жили они весело, счастливо, во взаимной любви и бережении. Иногда их пускала к себе младшая сестра мамино отца и племянница Клавдии Ивановны, тетя Нина, жившая в большой коммуналке в Хамовниках, недалеко от метро “Парк культуры”. Она была невысокого роста хорошенькой женщиной сорока с небольшим лет, не связанной браком и жившей в своё удовольствие, при этом очень доброй, любившей свою племянницу (а потом и меня) и пускавшей её к себе пожить, например, на время длительных командировок отца, которому приходилось в 1948–1952 годах ездить на практику на Дальний Восток исследовать китобойные промыслы.

Бытовые проблемы никому не добавляют оптимизма и жизнерадостности, дело известное. Но это всё же не беда, а, скорее, более или менее отвлекающий фон нашей жизни. Куда хуже, если начинает тревожить широкая неудовлетворённость происходящим, разочарование в окружающем мире, в ходе самой жизни. А моего отца, похоже, конфликт между первыми послевоенными ожиданиями и реальностью привёл именно к этому.

Отец всегда был настроен на действие, на свершения, на, как говорится, активную жизненную позицию. Недаром всегда томился от вынужденного безделья, например, попадая в больницу, но даже там старался занять себя писанием стихов или сочинением статей и книг. Вообще, отцовские стихи — не менее ценный источник для его биографии, чем письма, настолько точно они отражают его душевный настрой. Это своеобразная летопись, достойная доверия. Ещё двадцатилетним, находясь в военном госпитале, он писал:

*Мне не госпиталь надо, не сумрак палаты,  
Не душевный покой, не домашний уют.  
Может жизнь разлететься кусками солдата,  
Только б не было глупо прожитых минут!  
Мне Москва — или фронт. Середины не надо.  
Не хочу и не буду лишайником жить.  
Ненавидеть без крика, любить без парада —  
В это надо всю душу, все силы вложить!  
Человек я простой и сугубо реальный  
И реальные средства люблю под рукой.  
Залепить бы сейчас киселём госпитальным  
В тех, кто выдумал этот “душевный покой”.*

Война в принципе соответствовала такому настрою, удовлетворяла жажду действия, свершений, подвига. Послевоенный московский *modus vivendi* оказался слишком резким контрастом с военным образом жизни. Другой ритм, другой тип людей и отношений вокруг, другие приоритеты, другое целеполагание у окружающих. В поэме “Возвращение”, оконченной в 1946 году, отец передал своё недоумение, разочарование, свои сомнения. Он писал в ней о всемогущем блате, о засилии бюрократов, он уподобил Москву – Тишинскому рынку, где “всё продается и всё покупается”, он выставил на обозрение людей, для которых калечащие душу обстоятельства быта, среды, карьеры оказались губительнее фронта:

*Я дважды ранен и раз контужен;  
Солдатская жизнь тяжела издревле.  
Был обморожен и был простужен,  
Но мне война обошлась дешевле.*

Стихи отца – самое верное, неложное свидетельство его тогдашних настроений. В этом смысле он сам выделял в разговоре со мной стихотворение, написанное им в 1948 году на Дальнем Востоке, куда он попал на практику после окончания третьего курса. Этот стих – аллегория, как бы описывающая состояние природы и людей после бури; для убедительности даже дана подробная подпись: “Китобоец “Пурга” на рейде острова Итуруп (к/комбинат Найоко)”. Но это все для отвода глаз, на деле речь идёт о послевоенном состоянии советского общества, не оставляющем иллюзий.

*Серое утро... Серый туман  
Тяжко ложится на серые воды.  
Серость проклятая... Гнусный обман!  
Только вчера бушевал океан,  
Только вчера бушевала природа.*

*Словно споткнулась старушка-земля.  
С грохотом вдребезги небо разбилось.  
Волны взлетели до мачт корабля.  
Судно не слушает больше руля.  
Первая течь на борту появилась...*

*Боцман поднял по авралу людей –  
Яростью боя команда объята.  
Время ли думать о смерти своей?  
Ветер свистел в переплётах снастей,  
Рвались, как нити, стальные канаты.*

*“Если хотите себя поберечь –  
Трусость забудьте, усталость запрячьте.  
Эй, не зевайте, ещё приналець!”  
Трое матросов заделали течь,  
Юнги поставили парус на мачте.*

*Ветер наполнил его пузырьём –  
Выгнулась мачта, и вздрогнуло судно:  
Значит, сегодня от бури уйдём,  
Значит, сегодня ещё не умрём,  
Значит, с отважными справится трудно!*

\* \* \*

*Серая муть опустилась плотней,  
Странно меняя размеры и формы...  
Тихо на палубе... Душно под ней...  
Мёртвая зыбь качала людей  
Тяжким похмельем вчерашнего шторма.*

Комментировать великолепные стихи — только портить. Но вчитываясь в эти строки, понимаешь, почему война вспоминалась отцу как скорее светлая, нежели тёмная полоса его жизни (это его любимая метафора: жизнь—де, как зебра, полосатая — полоска белая, полоска чёрная). И понимаешь, чего не хватало ему в мирной жизни, как тому лермонтовскому “парусу”, который, мятежный, просил бури... И далеко не случайной кажется отцовская переключка с Лермонтовым, которую он затеял два года спустя, явную будучи ещё во власти того же настроения, но уже сформулировав для себя новую жизненную установку, выражающую всю его внутреннюю суть, его кредо:

**НОКТЮРН**  
(вечерний бред)

*Я хочу забвенья и покоя,  
Я б хотел забыться и заснуть.*

М. Лермонтов

*Третий вечер темно. Третий вечер без света.  
Третий вечер без дела, пустой и ненужный.  
Через окна веранды врывается ветер,  
И доносится рокот ревущего моря.*

*Бьются листья кривого приморского дуба,  
Бьются с ветром и, полные жизни зелёной,  
Умирая, слетают с шумящего дуба;  
Как упрёки тяжёлые, падают листья.*

*Третий вечер темно... Если с полного хода  
Остановишь коня, или птицу, иль сердце —  
Конь падёт, разобьётся крылатая птица,  
Не на час — навсегда успокоится сердце.*

*Прочь, непрошенный отдых, наводишь тоску ты!  
Лучше ветер и белая ярость прибоя!  
Мой покой — далеко. До последней минуты  
Не хочу ни забвенья, ни сна, ни покоя.*

Вот так он и прожил жизнь, в точном соответствии с этими словами...

А тогда, вернувшись с войны, он записался в литературный семинар (литкружок, литобъединение — назовите, как хотите), который Илья Эренбург вёл при Тимирязевской сельхозакадемии, как ни странно. Эренбург был матерейший литератор, счастливо уцелевший во всех российских бурях XX века, но имевший и большой международный литературный и политический опыт, умудрённый непросто прожитой жизнью.

Отец как фронтовой политработник, конечно же, изучал с карандашом все его статьи военного времени, включая знаменитую “Убей немца!”, читал и стихи мэтра, уважал его литературный талант и опыт. Выступал у него со стихами, делал доклад о современной литературе. В нём отец утверждал, что “Стране Советов” (Маяковский) “нужен поэт, который был бы по плечу нашему времени... Нужен человек, выросший в наше время, сын своего века, знающий его, видящий не только вчерашнее и сегодняшнее, человек умный, знающий, волевой, человек большой любви и большого гнева”. Он требовал: “Мы не прошли ещё до конца. Дорога ещё не стала ровной и свободной. До станции пока далеко. Рано ещё жить прошлым. И тот, кто хочет идти вперёд, обязан не глазеть на красивые пейзажи по сторонам, а видеть дорогу такой, как она есть; всё, что стоит на ней, мешая движению, должно быть убрано, уничтожено, сметено”<sup>32</sup>.

Впрочем, в этом литкружке отец и для себя “просил бури”, представив на обсуждение, в частности, свою скептическую поэму “Возвращение”. Или вот такое стихотворение 1949 года:

*Набат звучал томительно и грозно.  
В огне пожара не было ночей.  
Народ спешил, пока ещё не поздно,  
Тушить пожар и общий, и ничей.*

*И я, как все: не лучше и не хуже,  
Не обошёл пожара стороной,  
Мы вместе жили в пламени и стуже,  
И верил я, что жизни нет иной.*

*Огонь погас. И помнят все живые,  
Как ночь пришла в гнетущей тишине.  
И каждый знал, что в этой тьме впервые  
Остался сам с собой наедине.*

Не знаю уж, как реагировал Эренбург на такое творчество воспитанника. Честно говоря, совсем не видно в этих стихах дежурного советского оптимизма...

\* \* \*

Когда-то, в феврале-марте 1944 года в большом стихотворении “Мечты о счастье” Никита Севастьянов, воюя на Западном фронте, писал:

*Для счастья я требую в первую голову —  
И это, товарищи, вовсе не бредни —  
Труда, пускай чрезвычайно тяжёлого,  
Чтоб душу вложить до кровинки последней.  
Работали чтоб и руки, и череп,  
И все другие мои учреждения,  
Чтоб в мысли единой, в единой вере б  
Забылся и собственный день рождения.  
Чтоб знал я — нужна работа моя  
Не мне одному, а может быть — тысячам.  
Мне это дороже похвал холуя  
И даже тех, кто из мрамора высечен.  
Но чтобы в работе не быть сухарём,  
Не быть не от мира сего святошей,  
Чтоб быть по всем измерениям трём  
Живым человеком, простым, хорошим,  
Мне нужно право крепко любить,  
Любовью, единственный раз пролитой...  
.....  
Так будут моими: работа по сердцу  
И сердце любимого мной человека!*

Этот выбор “модели счастья” не был случайным, легковесным, необдуманым, отец пришёл к нему уже давно. Чуть раньше, в январе того же года он отчеканил его в письме к своей любимой: “Для меня, Анюша, счастье складывается из 2-х элементов: любимой работы и любимого человека. Без любимой работы жизнь пуста, бессмысленна, она мучает тебя и окружающих; без любимого человека ты превратишься в сухарь, потеряешь человеческое, станешь невыносим для других. И только это сочетание даёт уверенность, что не зря болтаешься по земле, а следовательно — счастье. Тогда действительно... не страшны ни тяжёлый труд, ни голод, ни отсутствие удобств” (27.01.44). Это было решено им раз и навсегда.

Удалось ли отцу воплотить свою мечту? Думаю, в конечном счёте, да. В этом ему крепко помог тот самый “фронтвой закал”, с разговора о котором я начал этот очерк.

## ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Здесь и далее послужные данные взяты из “Выписки из военного билета № 10851 Севастьянова Никиты Борисовича о прохождении службы в рядах Советской армии”, скреплённой круглой гербовой печатью Киевского районного Военного

- Комиссариата гор. Москвы (копия выдана 25 августа 1954 года, находится в семейном архиве). Подкреплены сведениями из многочисленных анкет.
- <sup>2</sup> См. “Удостоверение” от 2 декабря 1943 года № У-10 в семейном архиве.
- <sup>3</sup> О том, что он на фронте был комсоргом, я узнал только когда занялся его биографией, сам он об этом никогда даже не упоминал. Воевал — и воевал; командовал миномётом, расчётом противотанковой пушки, вот и всё. Его ранения, его награды никоим образом не связаны с комсомольской работой.
- <sup>4</sup> Этот замечательный госпиталь был ничем иным, как филиалом Кремлёвской больницы, командированным из Барвихи на Смоленщину. В письмах сестре отец подробно расписывает его достоинства. Судя по стихотворению “Госпитальное”, в июле 1944 года госпиталь находился в местечке Катюнь.
- <sup>5</sup> Обе справки находятся в семейном архиве.
- <sup>6</sup> Так, в марте 1945 года, получив третий орден, он пишет сестре полушутя: “Надо приготовить коробочку, чтобы по приезде домой было куда спрятать все свои регалии и не вызывать зависти мальчишек и милиционеров”.
- <sup>7</sup> <http://podvignaroda.mil.ru/?#id=33934433&tab=navDetailManAward>
- <sup>8</sup> <http://podvignaroda.mil.ru/?#id=24267113&tab=navDetailManAward>
- <sup>9</sup> В анкетах до конца писал, что читает и переводит со словарём по-немецки.
- <sup>10</sup> <http://podvignaroda.mil.ru/?#id=23139972&tab=navDetailManAward>
- <sup>11</sup> Грамота за подписью командира части не датирована. На печати: “529 Армейский Истребит. Противотанк. Артил. Ярцевский Краснознам. Ордена Александра Невского Полк”.
- <sup>12</sup> Надя была старше его на пять лет, сильно отличалась по характеру, но брат с сестрой были близки и дружны, поскольку Никита годами жил у тётки и кузины в московской коммуналке, пока учился в пятом-седьмом классах. Личная жизнь у неё не сложилась — и кто знает, не оттого ли, в частности, что, когда ей было 18–20 лет, у них жил младший братец. Но она не корила его, а отец всю жизнь помогал ей, чем мог.
- <sup>13</sup> Характерный пример из письма от 25.01.45: “Милая моя сеструха! Не беспокойся обо мне, ведь ты же понимаешь, что я же уже по-настоящему большой, и все эти трудности — сон по минутам, путаница дней и ночей — всё переношу отлично. Физически мне никогда не бывает трудно, и всё моё житьё-бытьё и настроение зависят от почты и поведения окружающих”.
- <sup>14</sup> Это следует понимать фигурально; на деле он долго-долго не расставался с любимой гимнастёркой, даже отдавал в перелицовку.
- <sup>15</sup> Лазарь Буфф, как и его брат-близнец Семён, учился с моими родителями в одном классе. Семён погиб на войне, отец материально поддерживал Лазаря.
- <sup>16</sup> В сохранившемся комсомольском билете последние взносы датированы июнем 1943 года. В июле, как следует из письма к сестре, он стал кандидатом в члены КПСС.
- <sup>17</sup> С оговорками — “Фронт” Корнейчука и “Они сражались за Родину” Шолохова.
- <sup>18</sup> Ср. во фронтовом блокноте две строчки-заготовки: “И первый лично мной убитый немец, // Уткнувший в русский снег оскал кривых зубов”.
- <sup>19</sup> Характерная черта: в письмах отца сестре не встречаются слова “фашисты”, “гитлеровцы”, а только “немцы”, “немецкая земля”, “фрицы”. Это был стихийный чисто этнополитический подход. Отец не был сознательным русским националистом; он просто был русским.
- <sup>20</sup> Из письма сестре 24 октября 1944 года: “Вот уже 5-й день я на исконной немецкой земле. Немцы боятся нас, они все (до одного человека) бегут, бросая скраб и скот. Правда, солдаты ещё дерутся крепко, но ушедшие отсюда жители будут неплохими агитаторами”. Как в воду смотрел!
- <sup>21</sup> В упомянутой выше “Благодарственной грамоте” этот эпизод числится под № 8, где значится: “За ликвидацию окружённой восточно-прусской группы немецких войск юго-западнее Кёнигсберга”.
- <sup>22</sup> Ср. в письме от 10 января 1944 года: “За меня не беспокойся, мне всего хватает для себя”; или от 13 декабря 1944 года: “Ты зря беспокоишься обо мне, родная. У нас ведь всё есть, что треба на фронте”.
- <sup>23</sup> Ср. в письме отца к сестре от 3 апреля 1944 года: “От Полины Осиповны получил письмо, она живёт, как и раньше, только в Туруханске стало еще скучнее. Света нет, народу мало. Многие из ребят, с которыми я учился, погибли”. Туруханск — далёкий и малолюдный сибирский посёлок, но выплатил войне дань

кровью сполна, заплатил жизнями своих молодых парней. Почему отец не оказался в их числе? Это настоящее чудо, не иначе. Ведь он с момента мобилизации не прятался от опасности, не уклонялся от выполнения долга.

<sup>24</sup> Отец писал маме с фронта: “Вот смотрю я на твою фотографию и думаю: как хорошо это, что есть у меня – хотя и далеко-далеко, больше тысячи километров – дорогой мне человек, который нашёл меня сначала в Сибири, потом на фронте и которого я потом нашёл в Москве” (9-10.02.45).

<sup>25</sup> Анкета от 4 июня 1964 года из семейного архива (черновик). Там же написано: “Отец Севастьянов Борис Александрович... умер в 1931 году, место смерти мне не известно”. Об аресте отца он узнал в том же году, но позже.

<sup>26</sup> Интересно, что отец первоначально в анкетах писал, что стал студентом Мосрыбвтуза в феврале 1946 года, но с 1967-го начал указывать, что стал студентом не с февраля, как писал ранее, а с января 1946 года. Забыл или не хотел лишних вопросов? В 1988 году он, однако, вновь указал в личном листке, что студентом стал с февраля. Не знаю, чем это объяснить.

<sup>27</sup> На весь институт давались две Калининские и лишь одна Сталинская стипендия.

<sup>28</sup> Характеристика была выдана 03.12.1947 года дирекцией и партбюро Института в связи с необходимостью восстановления утраченной отцом во время обморока орденой книжки.

<sup>29</sup> Нашу фамилию часто пишут в разных вариантах.

<sup>30</sup> Диплом с отличием Б № 024662.

<sup>31</sup> Адреса: Сивцев Вражек д. 44, кв. 6; ул. Чайковского д. 6/15, кв. 40; Б. Боже-ниновский пер. д. 4, кв. 9.

<sup>32</sup> Текст доложен на семинаре И. Г. Эренбурга 17 марта 1947 года, хранится в семейном архиве.